



*Маргарита Пальшина*

# ФИГУРЫ ПАМЯТИ

*Нет ничего более ценного,  
чем просто жить,  
сохраняя равновесие  
между воспоминаниями и мечтами*

**Маргарита Пальшина**  
**Фигуры памяти. Историческая**  
**поэма, документальный роман**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=17805279](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17805279)*

*ISBN 9785447460839*

**Аннотация**

Две столицы: Москва и Санкт-Петербург. Два века: начало XX века (1905—1918 гг.) и начало XXI (нулевые, десятые). Две истории любви и связь поколений... Роман о возможности берега за горизонтом, о счастливой геометрии судеб, о любви и одиночестве, о мире и войне, о борьбе и заблуждениях экзистенциального сознания и вере в Бога, в предначертанный путь, о времени и вечности, о мнимом бессмертии и истине генетической памяти. О современных романах, которые позабудут, и несгораемых письмах в грядущее.

# Содержание

Вместо посвящения	5
∅ (пустота)	6
§ (начало)	49
Конец ознакомительного фрагмента.	79

**Фигуры памяти**  
**Историческая поэма,**  
**документальный роман**

**Маргарита Пальшина**

© Маргарита Пальшина, 2017

ISBN 978-5-4474-6083-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Вместо посвящения

*Хранителю строк*

*Ты живёшь себе и не знаешь...*

*Это я пишу твою жизнь*

*Каждый миг*

*в каждом выдохе, каждым словом,*

*каждым шагом по гулкой платформе,*

*каждым судорожным глотком*

*остывающего в кружке кофе,*

*каждой складкой бессонной постели,*

*неумелым мазком акварели,*

*чёрно-белым кадром, красным вином,*

*полуденным солнцем на теле,*

*слезами, разбавленными дождём,*

*теплом*

*на губах чужих – и оттого*

*несмелых...*

*А когда я падаю от усталости, – это ты меня*

*поднимаешь*

*чтобы голос мой не умолк.*

## Ø (пустота)

Ты уезжаешь. Чувствую это натянутыми внутри струнами. За окном месяц ладьёй рассекает чернильное море. И Полярная звезда раздваивается на глазах на белую и золотую. Золотая – самолёт.

«Напиши роман о сильном герое», – сказал ты на прощание.

Я обещала.

В детстве меня водили на спектакль, названия которого сквозь годы уже и не вспомнить. Персонаж пьесы жил над театром, и квартиру освещала неоновая вывеска. Вечерами не зажигал лампу, бродил по комнатам в разноцветном потоке отсветов из окон, пытаюсь угадать, что происходит на сцене. Наверное, знал все пьесы наизусть. Фигуры памяти. Когда повзрослела, мне объяснили, что пьесы о Боге и мироздании.

А сегодня поняла, что и у меня впереди слишком много лет. Пустых, как комнаты над театром. Придётся чем-нибудь их наполнить. Чем, если не прошлым? Воспоминания – параллельный мир, где можно свободно дышать, жить, смеяться и совершать глупости легко и безнаказанно, как дети. Пока человек жив, ему позволено переписывать прошлое, сколько захочет, как черновик неоконченного романа. Мы – никто, но в своём неповторимом движении навстречу

друг другу создаём реки жизни, выпадающие в моря вечности. Каждый из нас, так или иначе, пытался примерить маску Бога.

Что ж, в таком случае я ничего не теряю.

Итак... На твёрдом боку земли расположились два города. Один – на холмах, окольцованный дорогами жизни, другой – в низине, в излучине полноводной реки. Первый был базарной девкой, готовой всех незваных гостей пригреть на груди, второй – скупым на чувства рыцарем. Судьба их любила по-разному, возвышая то одну, то другого. Города ревновали, спорили, воевали, но всё же тянулись друг к другу, как могут тянуться только противоположности, чтобы стать частью целого. Частью истории.

А мы? Мы жили на её перекрёстках.

\*\*\*

Всё возникло из пустоты. Берег в Финском заливе с видом на север. Запахи ила, сырого песка и хвои. Сотканный из белых ночей призрак Сольвейг<sup>1</sup>. Ветер гнал по небу скелеты доисторических рыб и крылатых скатов из города в го-

---

<sup>1</sup> Сольвейг (Solveig) – героиня драматической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1866): деревенская девушка, покинувшая семью ради отверженного всеми Пера Гюнта и прождавшая его всю жизнь до глубокой старости. Сольвейг – воплощение извечной мужской мечты о женской верности, которая не зависит от времени. Утверждению образа Сольвейг как символа женственности способствовала музыка Э. Грига (знаменитая песня Сольвейг).

род, из года в год. Как всегда, как обычно. Но на этот раз ты закинул невод – и поймал облака.

*«Не пройдёт и десяти лет, как ты родишься»*, – первые слова твоей истории. Я родилась через девять. Но Сольвейг существовала и раньше. Её придумал не ты, и даже не Ибсен. Она просто была. Во веки веков.

Я родилась задолго до того, как появилась на свет. Карельская художница Тамара Юфа, чьё имя неразрывно связано с севером, а кисть одухотворена водой и камнем, вызвала Сольвейг из небытия, подарив ей лицо.

Лицо моей мамы. Тринадцатилетняя петрозаводская школьница получила свои семь дней славы. Статью с маминим портретом опубликовали в местной еженедельной газете. Пожелтевшую от времени вырезку я всё детство теребила в руках, гордясь и завидуя. А сама Сольвейг, точнее, небольшая репродукция портрета в рамке, укоризненно косилась на меня с книжной полки – моих первых врат в мир слов. Семейные реликвии, бережно хранимые до сих пор, превратились в маяки, в судьбоносные знаки. Я росла там, куда ты и смотрел со своего берега, – в Петрозаводске.

Петрозаводск по праву считал себя братом Санкт-Петербурга: оба города заложены Петром Великим в 1703 году. Напрасно я понадеялась на родственные связи: Питер меня отринул. Зато приняла Москва. Как принимает она приезжих – в распростёртые объятия. Жадные до жертв и подношений, но щедрые на подарки и чудеса.

*«И пройдёт ещё тридцать лет прежде, чем мы встретимся»*, – так для нас началось ожидание, которое мы заполняли тем, что писали каждый свою историю. Писательство – единственный способ преодолеть время. И когда я прохожу между бронзовыми фигурами студентов на станции метро «Площадь Революции», то вижу в них памятники нам подобным: статуя девушки на века склонила голову над книгой, статуя юноши преклонила колени перед рукописью. Жизнь – и мастер, и книга, и читатель. Идеальный порядок. Когда-нибудь мы научимся его соблюдать – волей или неволей.

Я мечтала о городе на Неве, но в полночь там разводят мосты. В одном городе, но на разных берегах времени мы бы не встретились. Встреча не бывает случайной, она не столкновение на улице, набережной, в парке или метро, а проникновение. Тебе тоже было предрешиено стать моим севером.

\*\*\*

Цвета наших городов не смешивались. Петербург искони классически жёлтый. Солнечные лики дворцов смотрятся в зеркала каналов, взгляды блуждают на глубине болотными огоньками, затуманиваются топлёным молоком испарений. Подворотни осыпаются охрой под пронзительными, как лимонная кислота, сквозняками. Болезненная лёгкость и головокружение.

В Москве все по кругу бегут, на бегу тяжелея, задыха-

ясь и хватая ртом воздух, как амфибии по раскалённому асфальту, не замечая, что в воздухе разлита ртуть. Цвет Москвы – киноварь, кирпичные раны кремлёвских стен, драконья кровь. А в крови – копоть. Попробуй смешать – и получится ржавая медь, облетевшая осень. Именно так на языке цветов пишется слово «вчера».

Можно я расскажу о том, чего у нас не было? Вчера был июль. Безлунная жаркая ночь. В парке голосили цикады. Парочка прилегла на скамейку. Он ласкал её, целовал, а потом они поднялись и ушли по аллее. Девчонка в обжигающе ярких шортах и парень с вихрастой причёской хиппи, как у тебя на студенческих фотографиях. Вслед им ветер швырнул первые жёлтые листья. В июле соловьёв на сцене лета сменяют цикады, и в их ариях слышится плач. Невозможность берега.

Сольвейг – это София, вечная женственность, несбыточная мужская мечта. Земные женщины не способны всю жизнь прождать, знают: напрасно. Мужчины не возвращаются. Всякий раз, встречая тебя в аэропорту или на вокзале, я встречала другого тебя.

Не существует общего времени, только личная история. Нет мира для всех, и для двоих его нет, у каждого – своя вселенная, маленькая комнатка с окнами в небо, где ты – бог и включаешь солнце, как лампочку, и не догадываешься, что творится снаружи. Удаляясь друг от друга, мы теряем свои черты, оставляя простор для фантазии близким. Так люди

и превращаются в призраков: если человека нет рядом, его вообще нигде нет.

Я боюсь уезжать из Москвы: если дракон покинет холм, сотворивший его, он растает. Москва – моё место силы, она сделала меня той, кто я есть.

И теперь нам придётся любить друг друга настоящими: с печатью бессонницы на лицах, вскипевшими реками вен, инеем в волосах.

«Самый тяжкий порок – это трусость»<sup>2</sup>, копать в крови. Я ощутила её в своей в миг кружащейся осени, моей первой московской осени на Патриарших прудах. Шагнула по жухлой листве, и время споткнулось, встало, как вкопанное. А жизнь кончилась, не начавшись. Возникла из пустоты и мелькнула где-то задворками, как нарисованная на стене дверь – метафора «никогда».

– Чем ты там, в Москве, занимаешься? Тебе замуж пора, нам хочется внуков, – мамин далёкий голос по телефону.

– Я – в бреду. И бреду сквозь осени, увязая по самое сердце.

Москва – город сломанных копий. Рыцари на фасаде «Дома Актёра» в свете низкого солнца обретают крылья, как ангелы. Мне они показались после десяти лет столичной жизни. С высоты незаметно кивнули – и приняли без возврата. Ностальгию внушает Москва даже тем, кто родился здесь и не может уехать. Вавилон, где всякий получит

---

<sup>2</sup> здесь и далее цитируется роман «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

то, что заслуживает, если ждать умеет безропотно. Центро-стремительный город-кольцо, символ вечного возвращения. В Москву всегда возвращаешься: старый Арбат лёг на ладонь изогнутой линией жизни. Петлять по Москве – ещё один способ борьбы со временем. Время бежит за мной по пятам и тоненькой щёткой заматает следы. Многие улицы, дворики, площади... стёрты с городских и дорожных карт. Неизбывное состояние скорби: деревья рубят, дома сносят, города и лица меняются, чувства-мысли проходят.

– Ты хоть понимаешь, что ты последняя? Нет ни братьев, ни сестёр. Ты – последняя из рода Серовых.

Они все уже тени. Сквозь жернова времени проскочила одна – Анна, прапрабабка моя, но не подвиг тому причиной и не преступление. Расшиблась о дно в мелком водовороте человеческих страстей. Все мы, падая в пустоту, верим, что руки любимых поймают в полёте.

Петербург же меня уронил, и рана не зарастала, несмотря на московские мази и пластыри. Срубленное дерево умирает не сразу, пока хватает питания в стволе, зеленеют и распускаются новые листья. Одна часть его не знает, что другая давно мертва, и невольно жить продолжает – бесчувственно.

На московских бульварах вчера выставляли картины юных художников, мне полюбилась «Отчаяние»: в позе модели померещился мунковский «Крик»<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> По одной из версий картина «Крик» Эдварда Мунка навеяна видом перуанской мумии, которую он мог видеть на всемирной выставке в Париже в 1889 году.

Словом, цвета городов не смешивались, и для нас я придумала белый. Ослепительный и недоступный, как север.

\*\*\*

Белым криком немела картина, заключённая в раму окна. В позе, сломленной ожиданием, Анна смотрела на ледяное Онежское озеро. Снег валил третьи сутки, равняя небо с землёй. Чуть свет соседи собирались откапывать дверь их крайней избы, а к сизым сумеркам опять заметало все тропки в деревне. Обещали: зима 1914-го будет лютой, и рубили сучья с дерев, и клеймили кору крестами<sup>4</sup>. Ветер бился в окно, скулил в трубе. Удары молота по наковальне, казалось, вгоняют в мёрзлую землю новый кладбищенский крест.

«Анька-то, жена кузнеца, не переживёт эту зиму», – шептали соседи, когда, ещё осенью, не смогла открыть амбарный сундук. Бабы в деревне пекли ячменный хлеб и калитки, пряча счастье своё под тяжёлой железной кровлей<sup>5</sup>. Сундук был проверкой на стойкость. Взялась, потянула – крышка не дрогнула, только вздулись и налились иссохшие русла вен на запястьях.

---

<sup>4</sup> В Заонежье (Карелии, Скандинавии) существовала традиция вырезать (вытёсывать) кресты на коре деревьев и обрубать сучья – в память об умерших и как оберег от новых напастей.

<sup>5</sup> Карельское название ячменя – озга, что созвучно слову oza – счастье. Калитки – национальные пироги из ржаной муки с ячменной или пшённой начинкой, хлеб в Карелии также выпекался преимущественно из ячменной муки.

А кузнец ей купил пианино, подержанное, осипшее на две белых клавиши. Анна смирилась с заменой их чёрными. Вальсы Штрауса закружились с метелью, зазвучали из невозможного прошлого постаревшими голосами дворцов Петербурга.

Скрипнул снег под санями – и снова к окну. И снова – не он. Это по Онежской зимней дороге к кузнецу зачастили губернские гости. Во дворе на ветру простонала калитка, да в сенях от мороза половицы трещат. Он вернётся, приедет за ней? Равнина темнела к ночи, безмолвствуя. Купола деревянных церквей напомнили остовы кораблей. Беспредельность ледяной пустыни по смыслу равна безысходности.

Ночью же, отогревшись во сне, в животе шевельнулась зверушка. Не она бы, и Анна не ворочалась на печи с боку на бок – на краю земли, как изгнанница севера, ссыльная в Заонежье. В Петербурге её бы давно уж простили. Но зверушка толкалась, скреблась изнутри.

«Мы с тобой должны выжить. Мы остались одни», – прошептала ей Анна.

\*\*\*\*

Одиночество – это пустая страница. Белый лист. Обесцвеченный город. Я заселяю безлюдье переменным количе-

ством знаков в секунду. А секунда всегда вторая<sup>6</sup>, случается после. Чего?

В год, когда мы полюбили друг друга, голуби садились на провода и раскачивались на них, как на качелях, подвешенных в пространствах между домами. Пространства сияли прозрачностью, ясный воздух звенел: зима выдалась скупой на снега. В моих снах напротив мела метель. Мы ехали по заснеженной бескрайней равнине, ты был за рулём, хотя в жизни ты не водитель. Дорога длилась и длилась. Снег падал и падал, заглушая все прочие звуки. Ты обещал найти для нас дом: деревянный, с колодцем и печкой. Но я чувствовала, что хозяйка избы не захочет нас приютить.

Нашей реальностью стало безвременье: привокзальные площади, залы ожидания в аэропортах, скамейки заброшенных парков. Твоё сердце пронзила стрела Невского проспекта, моё окольцевали бульвары Москвы. Порождения своих городов, мы застыли, как атлант и кариатида, подпирая их своды, не в силах сдвинуться с места. Расстояния нас связали, необъятность пустых страниц, осознав это, мы друг друга больше не провожали.

Мы умеем любить, но так и не научились быть рядом. Принадлежим миру невидимого, неосязаемого, неуловимого. Наши чувства и мысли, как тени, прячутся в тёмных комнатах над театром дел повседневных: от софитов они ослепнут. Лица скрыты под маской, истинные мы – замкну-

---

<sup>6</sup> лат. *secunda* (вторая)

ты и непостижимы. Не напиши я эти страницы – и вокруг зияла бы пустота.

«Пустота не только начало начал, но и отсутствие. У тебя абстиненция. Начни писать, всё наладится», – сказал ты на прощание. Мои строки – спасение от экзистенциальной свободы: в жизни финал открыт, а литературный сюжет фаталистичен и заранее обречён на присутствие. Я пишу роман до востребования, он – залог, обещание завтра: человек без будущего – безнадёжен.

Ты же мне больше не снишься. Снится диктант, и во сне не успеваю его дописать. Диктуют свыше, но нерадивая студентка в наш компьютерный век разучилась писать от руки. Покрываю страницы записной книжки закорючками «второй степени свежести». Состояние дежавю: каждый московский день воспринимается как абстрактный образ любого дня не внутри истории, а вне времени. Слова тают в розоватой утренней дымке, выгорают на солнце, и мне никак не поймать, не вернуть их себе.

В молчаливые дни межкнижия, междустрочия брожу по Москве кругами и пишу роман в голове, потом падаю от усталости на красные кожаные сиденья в кафе и старательно обвожу пустоту символами и знаками. Солнечные улицы льются в ладони, на страницы записной книжки, отражаются в бокале бордо.

Старый Арбат пестрит объявлениями: «Куплю библиотеку». Книга – ключ к мирозданию, мироздание – лабиринт,

поэтому существуют миллионы ключей. А философы – всего-навсего бережливые собиратели чужой мудрости, той, что рядом, вокруг, под руками-ногами. Как Платон собирал Сократа, а Левий Матвей – Христа.

*«Мы все существуем лишь на бумаге, – писал некогда ты. – И только здесь, на бумаге, мы счастливы и свободны».* На бумаге мы вечно живы, – добавлю. Правило необратимости сформулировал Дарвин: «Вид, раз исчезнувший, никогда не появится вновь, даже если повторятся совершенно тождественные условия жизни». Мы же сетью, сплетённой из слов, ловим души друг друга, запираем внутри страницы трепещущие на кончике авторучки мгновения. И написанное по воспоминаниям возвращается, сочинённое в точности начинает сбываться. Писательство – древняя магия. Если мир сотворён Словом, то вымысел – единственная правда на свете, вдохновение – откровение Бога. Что же может сравниться с умением создавать миры?

Часовые миров стоят по краям Арбата дни напролёт. Поэты, писатели книжки свои вручают каждому встречному, раздаривают себя по кусочкам прохожим – так листовки с рекламой назойливо раздают у метро. Пёстрая братия, попрошайки внимания с бездонными глазами. Прохожие в бездну не вглядываются, скользят по делам. Рыцари обвивают книжные лавки, как выюнок ограды могил, но живому бессмертного не одолеть. Это битва за время обречена на провал, пока кто-нибудь вдруг не протянет им руку. Дайте ры-

царю кров и ночлег – и у него вырастут крылья.

У меня тоже когда-то был дом. В маленькой спальне на трюмо уместился компьютер, над трюмо – полки книг. Музу видела в зеркале всякий раз, как садилась писать. Зеркало и украсила рубиновой розой: на премьеру романа мне её подарил первый читатель, мой светлый дружок. С чистым сердцем дарил: роза долго не вяла, а когда все сроки прошли, застыла каменным цветком, будто бы навсегда. Похоронная телеграмма от его родных прилетела в день, когда, смахивая пыль с книжных полок, я нечаянно розу задела плечом. Роза рассыпалась в прах.

Ты просил написать роман-завещание? Напишу обо всех, кто мне дорог. Я раскрыла секрет Парацельса: оживить розу можно, назвав её имя. Слово творит воспоминание, память хранит миры. Ты уходишь из моей жизни, но не из рукописи. Рукописи не горят.

\*\*\*\*

Горела настольная лампа в твоём окне до утра. Единственное в больнице окно в ночные часы дежурств, другие давно погасли. Я приходила к тебе во сне, но меня не пускали. Медсестра за стойкой регистрации повторяла, что занят. Я смотрела сквозь стеклянные двери в тёмный провал коридора с мерцающим светом. Сквозила с ветром по лестнице вверх до твоего кабинета. Замерев на пороге, наблюдала, как

ты что-то писал за рабочим столом.

Истории болезней. Анамнез существования в доме скорби. Да что дом? Скорбел окружающий мир, где здорового не посчастливится отыскать. С детства знал: жить – значит чувствовать холод и боль. Аттестат зрелости подал на медицинский: муки выбора меж факультетами уложились в длину выкуренной сигареты.

Твой отец тоже лечил природу. «Всё живое состоит из воды», – рассуждал он, глядя в мутные воды каналов, и собирал коллекцию жидких ядов в пробирках. Он был гидролог, эколог и доктор наук. «И женат на своей науке», – заключила мать. Вскоре после рождения сына она умерла от неведомой болезни нервной системы. Наверное, была рьяной противницей двоежёнства.

Всю вдовью половину жизни отец сам себя стыдил. Настоящий стыд испытывают невинные. Не своя вина заставляет прятать глаза от участливых посторонних и сгибает спину. Так мосты Ленинграда, а затем и Санкт-Петербурга горбились и оседали под «людской многоножкой»<sup>7</sup>. Твой отец почитал и почитывал Белого. Имя Андрей не прошло мимо сына.

Вечерами ты таскал ему в кабинет тетрадки со школьными сочинениями и каракулями первых стишков – надо было хоть чем-нибудь заполнять паузы между совместными приёмами пищи, давать повод расслабить на горле затянувшиеся

---

<sup>7</sup> здесь и далее цитируется роман «Петербург» Андрея Белого.

петли молчаний. Иногда вместе вы изучали, как в атмосфере за окнами аккумулируются кумулюсы<sup>8</sup>. На твой детский вопрос: «Что случится, если прокатиться верхом на облаке?», отец с горькой усмешкой отвечал: «Мокрая попа», далее следовал научный трактат о природном явлении «облака».

На конференции он повязывал полюбившийся синий галстук под костюмы всех оттенков коричневого, спрашивал: «Мне идёт?». Ты, чуть дёрнув плечом, хмыкал в ответ, а сам носил джинсы. Может, и белый халат врач взрослый Андрей выбрал как избавление от условностей стилей и норм?

В старших классах ты размышлял закинуть за плечи гитару и раствориться в белых ночах навсегда. И даже купил на север билет, но...

Отец как раз возвращался с работы, вы разминулись, и он бы тебя не заметил. Топтался сутулый и какой-то весь скомканный у двери в парадную: опять позабыл, в каком из карманов ключи, а код никогда и не помнил. Лицо оплыло тоскливой гримасой, губы дрожали, чем-то напомнил юридивого.

«Как же мне жёстко, сынок!» – пожаловался он тебе дома, у двери без сил опустившись на пол. «Пап, пересядь на диван», – посоветовал ты. И разорвал на поезд билет. Гитара с тех пор так и пылилась в прихожей, а ты относишься к жизни, как к неизлечимой простуде. Свойство жизни – всегда продолжаться. Свойство правды – быть злой и болезненной.

---

<sup>8</sup> научное название кучевых облаков.

Бессмысленно обижаться на питерскую погоду, разумнее будет закутаться в шарф и дальше шагать сквозь времена.

Аксиома: времена либо наши, либо не те. Я открыла другие – пустые, написала книгу о людях, не сумевших расположить своё время на картах. Время утекало у них сквозь пальцы, жизнь их вычерпала до дна. Критики предостерегали: «Берегитесь, Марго, талант – такая зверушка, которая при полной самоотдаче может сожрать своего хозяина». Зверушка сожрала моих близких – тех, кто ко мне прикасался. Мною побрезговала.

Я – мёртвый камень. Карельские шаманы издревле уходили умирать в леса, их души превращались в камни. Приборы в тех местах теряют точки отсчёта, притронувшиеся – жизнь. Андрей Белый страшился призраков с островов: их породила легенда карелов о стылом аде болот. Оба города выстроены на болотах.

Бурно богемная моя жизнь в Москве закаменела в течение года. Друзья уезжали в поисках веры в горы Тибета, их косили болезни, наркотики, пьянство, кто-то женился, детей нарожал, а кто-то шагнул из окна. Я стояла в центре бешеной круговерти, ожидая падения. Карусель рухнула – и вокруг, как невидимая скала, возникло пространство.

Последний день рождения, начинавшийся с двойки, отметила на скамейке в слякотном от апреля парке. С джином и снегом. Больше никто не явился. Вспоминала зачем-то Маргариту де Валуа. Сочиняли историки, королева Марго

посещала казни, выкупая отрубленные головы любовников. И хранила их в сосудах с формалином в спальне, иногда целовала холодные губы, мертвецов возвращая к жизни.

Люди уходят, оставляя после себя прорехи во вселенной, звать их обратно – всё равно, что зашивать джинсы: края обрываются, дыра расплзается шире и шире.

В тот год все дома в округе пустели окнами в ночь, и на фоне чёрных квадратов ярко горели свечи подъездов.

К тридцати я сама превратилась в призрака: безымянным платят вдвойне, неподписанный текст утрачивает силу. Журналистика, копирайтинг... – и никакой самодеятельности: хорошее дело худлитом не назовут. Стилист, копиист, мастер фальшивок.

Ты же светил окном в ночь, как незримый маяк. *«Прости, что так много рассказываю о своих пустых временах, но твоя книга написана и обо мне... Читаю её на дежурствах... Не желай мне спокойной ночи, не принято...»*, – протянулась меж нами электронная ниточка переписки. Недолюбленность в письмах сквозила, и кончались они словами: *«Если чем-то могу помочь, то...»*

Чем ты можешь помочь мне? Оживишь моё прошлое?

Но деревья растут на камнях: для карельских сосен берег возможен там, где за скалу корнями удалось зацепиться. Сначала делаешь вид, что сильный и не боишься, а потом привыкаешь быть сильным и не бояться. Пишут, чтобы победить не смерть, а забвение. Уничтожить ничто.

Анна помнила: многолюдным был дом её детства. Собирались все к ужину, после играли в шарады, живые картины. Младшенькая, Татьяна, любила загадывать птиц. Перекраивали маминой юности платья, перья от шляпок в крылья вплетали. И летали по сцене гостиной, и кружились, как на балах. Анне весной исполнится десять, Тане – восемь. Долгожданного брата мама носила под сердцем – тоже родится весенним. Осенью той торопили весну.

– Вы не находите, поутру будто пахнет апрелем?

– Иней тает на палой листве. Запах терпкий и прелый.

– Мне капелью вчера почудился дождь.

– Вот наважденье! Октябрь на дворе.

Мечтали и ждали солнечных дней. Примеряли весны обещастья, как бальные платья. Сестрёнок готовили к *petit-jeux*<sup>9</sup>. Лёгкие роли – заучи наизусть и будь счастлива. Игрушечные золочёные клетки салонов, где щебечут довольные птички. Изображали не жертв, не героев, персонажи спектаклей лучились, как смех. В сказ тёмных ветров на просторах трагедий не верил никто. Далёкое не пугает: если и сбудется, то с кем-то другим.

– Все под Богом ходим, – предостерегала их маменька.

---

<sup>9</sup> светские игры (фр.)

Но молились светло. К ночи расходились по спальням, свечки к груди прижимая. Анна чуть ниже держала свечу, верила: солнечное сплетение – место, где обитает душа. Когда переживаешь о чём-то или волнуешься сильно, болит и трепещет именно там.

«Мирен сон и безмятежен даруй...»<sup>10</sup>. Может, молитва моя не нужна? Свет проникает в меня, понимает без слов?

– Ты всё ярче сияешь, – улыбался отец, – храни тебя Бог.

Анна чувствовала: космос рос у неё внутри, словно носила в себе живое дыхание неба. С первыми заморозками и вовсе сон потеряла, смотрела на звёзды и думала: там живёт Бог. Днём солнце на всех, ночью всякий молится о себе. Почему звёзд так много? Неужели каждой свечке, зажжённой в часы вечерних молитв, звезда предназначена? Неужели Бог видит нас всех? Входит в тёмную комнату неба и смотрит оттуда на наши земные свечи. Что же станется с нами, когда ему надоест?

Ничто настагает внезапно. Так осенняя ночь пожирает день, и город беспомощно щурится лампадами окон.

Ночью чёрное солнце приснилось. Проснулась, как от удара. Порттик обрушился осколками камня. Голубь присел – и сорвался напрямик под колёса запоздалой пролётки. Как же так, птица пала, а должна бы взлететь?

Анна выбежала на улицу босиком и в исподнем. Голубь бился ещё, мостовая междулужными ртами пила его кровь.

---

<sup>10</sup> слова молитвы святого Иоанна Златоуста на сон грядущий

Кровь дымилась и в свете газовых фонарей мерещилась голубой. Анна дрожала над ним на ветру и плакала. Небо изморосью оседало на горящие щёки. И казалось, утекло много дней прежде, чем выбежали вслед за ней домашние голоса.

– Дурной знак! – мама скрестила руки на животе.

– Пропаций, лучше бы кошка съела, – сестрёнка не плакала.

– В дом ступайте! Кто ж по улицам бегает в неглиже? – плед накинул на плечи отец.

Но согреться Анна уже не могла. Космос лопнул, как тщедушное тельце. Птичьи перья и потроха схоронила в земле у оградки во внутреннем дворике.

Зимой хоронили братишку – уже за оградкой. И кладбищенская земля леденела в руках. Не отпевали. Оплакали восковыми слезами свечей поминальных.

– Голубок мой! Вылетел раньше срока...

Ветер дунул в окно. Погасла свеча. И тяжёлым занавесом на дом тишина опустилась. Сон в руку. Живые фигуры изображали? Богу стало тошно смотреть – он отвернулся.

Мы ничтожно малы перед Господом: не птицы, а насекомые. Ничто – мухобойка. Хлоп! – и кончились игры. Не доглядел наблюдатель сторонний, позволил невинную душу забрать. Или хуже: сам промахнулся.

Так зачем же стараться? Ты одна на дороге. Бог не хранит. И времени маховик уже завертелся, как колёса пролётки, за-

стучал по расхлябанной улице жизни, разгоняясь на поворотах. Чем дальше, тем настойчивей будет стучать. Звук, который услышав раз, не сможешь потом ни унять, ни перекрыть.

Голос времени, глухого к мольбам и немого к вопросам. Равнодушный, необратимый.

\*\*\*

В Москве зафиксирована эпидемия голубей: слепнут, бьются о стены, расшибаются о брусчатку. В новостях призывают держаться подальше от площадей и ни в коем случае не прикармливать птиц на балконе.

По бульварам ветер гонит листья каштанов, напоминающие оторванные когтистые лапы. Словно птицы отвоёвывали город у драконов. И в бою все погибли: и драконы, и голуби. Город пустой.

Дворники в оранжевых жилетах, похожие на спасателей, собирают птичьи тушки с аллей в мешки с листьями, потом их вместе сжигают. Едкий дым костров сквозь глаза проникает в сердце, заражает тоской. Перешёптываются прохожие: в 2013 году рекордно холодная осень, сто лет не было такой. А она упрямо стоит передо мной, как пенсионерка на осмотре у врача: голая, страшная, обречённая.

В этом году и Москва выглядит постаревшей хабалкой. В метро ездят в грязной одежде, на улицах не отводя глаз

просят денег, отовсюду слышится мат, а слова «спасибо» и «добрый вечер» вычеркнули из всех словарей. Наверно, исконная московская интеллигенция сдала им свои квартиры и улетела к морю.

Первые годы в Москве я снимала комнату на Садовом кольце. Хозяйка завешивала окна марлей, к зиме нежная белая ткань затвердевала в стену из копоти. Иногда мне кажется, что с душами людей здесь происходит то же самое: не ожесточение, а очерствение.

Я исследую уничтожение. С балкона заколоченной церкви на Варварке<sup>11</sup> открывается вид на бывшую гостиницу «Россия»: пустырь окружают берёзки и купола церквей, звёздный шпиль Балчуга<sup>12</sup>, заводские трубы над Москвой-рекой, стеклянные силуэты высоток. Над пустырём парит крысолов-сокол. Как будто смотрю в лицо России.

Наш мир подчиняется закону необратимости. Если стена дома треснула, то сколь её ни замазывай, дом больше не монолитный, рухнет в любой момент. Жить в Москве – как вернуться с войны: стройка поверх руин.

Ты спрашивал в письмах: какая она, Москва? Я правда не знаю, никто её не сберёг, исторический центр перекроили весь, перестроили. Может, в этом её характер, вечно молодящаяся ничья жена?

Ты сразу почувствовал, как мы с ней похожи. Москва –

---

<sup>11</sup> Храм Варвары Великомученицы

<sup>12</sup> пятизвездочный отель «Балчуг Кемпински»

город приезжих, сюда каждый привозит свою историю и, как писателя персонажи, на время наполняет собой, своими традициями и смыслом. Город-магнит, барахолка истории, где всё свалено в кучу, но невозможно что-то найти. Город-зеркало, чьи обитатели вынуждены носить маскарадные маски, чтобы хоть как-то себя сохранить в круговороте невозвращения, в толчее безликих.

Первому солнцу на площади трёх вокзалов вновь прибывшие смело смотрят в лицо. Как красиво алела в лучах рассвета гордая башня Казанского! Загадала: или лавры герою столицы, или домой на щите. По проспекту с утра зашагали навстречу прохожие, мимо и сквозь меня, пёстрой толпой из ниоткуда в никуда, отражаясь в манящих витринах, ускользя и прячась от взгляда прямого в искристом, обманчивом застеколье. Через год я Москву поняла: рыцарские щиты здесь перековывают в железные маски, смотрят под ноги, чтобы не поскользнуться, разговаривают не по душам и глаза опускают вместо ответа на вопрос «Как дела?».

Столпотворение не столпы для Москвы творит – остолопов. Бестолковая жизнь безопасна, это деятельность без деяний на суд, и толкут её словно воду в ступе. Обезличивание избавляет от благородства. Копоть накапливается в крови, день за днём тяжелеет страх – о нём и писали любимые нами Булгаков и Белый. Потерявшим щиты не на чем возвращаться. Среди заболевших драмой Сизифа нет победителей и побеждённых. Я не строю роман, как дом, а перекладываю

тяжёлые камни воспоминаний с места на место.

Куст шиповника жмётся к церковной изгороди, зябко прячет ветки в карманы трещин. Ветер оборвал все его цветы. Остался последний бутон. Дикая белая роза. Нежность с привкусом сожаления. Ты тоже дарил мне розы, красные, белые. И лечил шиповником, заваривая его в экзотический чай с барбарисом и лепестками гибискуса или в глинтвейн на меду. Приезжая к тебе погостить, я подхватывала питерскую простуду. И теперь каждый вздох болью напоминает мне о тебе. Словно плод пустил корни в груди, и сквозь меня прорастает розовый куст, тщится вырваться вместе с кашлем наружу.

Видишь, всё-таки не существует чувства или явления, которого нельзя было бы выразить в откровенном письме, – и отобрать у ничто мгновения. Точно так люди берегут личные вещи, распространяясь на них и захламляя свои дома, жизнь пытаюсь продлить в неживом. Но в итоге от человека останется горстка писем, несколько фотографий и другие люди, помнящие и безутешные. Накопленный хлам выбросят или сожгут, а письма – мост через время.

На вопрос: «Можно ли войти в одну реку дважды?», я всегда отвечала: «Да, второй раз, когда пишешь об этом, а потом воскресать в голове читающего твои строки». Шкатулка с неотправленными письмами Анны и чёрно-белая фотокарточка, где она с моей трёхлетней прабабушкой на руках на крыльце заонежского дома – моё наследство. Прово-

жу ладонью по шероховатой бумаге, разбираю по буквам бисерный почерк, раскладываю письма по датам, превращая их в личный дневник, и история оживает. Я уже научилась писать на полях и восстанавливать провалы во времени.

В глобальном смысле все знания человечества о мироздании – шахматная доска: белые квадраты дверей в освещённые комнаты открываются из темноты коридоров неясных догадок и заблуждений.

Жаль, что оба вы – *Номо fictus*<sup>13</sup>. Я хочу сохранить на бумаге вас, но могу лишь свои отражения. Мой роман тоже личный дневник, где я заново вас создаю или попросту сочиняю, преломляю через себя, расширяюсь до ваших пределов. И пишу тебе о тебе.

Ты рассказывал факты своей биографии, я же пытаюсь понять, что ты чувствовал в пять лет, в шестнадцать, в том кафе на вокзале, когда провожала. Внутри меня ты другой, и порой так трудно осветить этот внутренний мир, записать словами. Вытягиваю тебя из себя, как нескончаемую нить. И приписываю несуществующие мысли и чувства, придумываю, как и Москву вокруг, как свою жизнь. Мир – творение моих рук.

Мечтала книгу построить, как фамильный замок: мраморные полы, замшелые стены, где-то капает вода, сквозит холодом. Камин еле тлеет. Ты сидишь в кресле и смотришь в окно. За окном встаёт солнце. Ты попадаешь в конус яркого

---

<sup>13</sup> человек вымышленный (лат.)

луча. И начинается утро.

В наших каменных городах мне всегда не хватало солнца – как веры в вечное возвращение. Я мечтаю о притяжении Комбре<sup>14</sup>. Меня учат: пиши так, чтобы читатель не мог оторваться от книги до последней страницы. Меня же волнует, вернётся ли он и будет ли возвращаться, хотя бы время от времени. Книги называют путешествиями, для меня они – обжитые дома.

Держу в руках письма Анны и пишу тебе от руки. Считаю это вызовом времени. Эпохе бестелесной, бездушной энергии, электронных писем, книг в ридерах, сериалов в айпадах, электрическому свету, искусственной жизни. Когда-то люди писали на камне, глине, пергаменте – настоящее, на века, а сейчас и бумагу превратили в систему двубитных сигналов, нас – в профайлы социальных сетей. Мы стираем, стирают нас. Планета вертится всё быстрее, энтропия растёт. Поток информации – засуха в мыслях. Амнезия – проблема века. Навязчивое желание фотографировать и сохранять в сети свои дни создаёт Facebook – обезличенную книгу повального дежавю, гигабайты мусора прошлого. А во имя светлого будущего объявлена всеобщая гаджетизация. Слова уже не читаемы, как иероглифы древних, новый язык – интерактивная инфографика, её сменит прямо наведённая в мозг эмоция. Мигание лампочки, электронный сигнал, алфавит из нулей и единиц.

---

<sup>14</sup> «В поисках утраченного времени». Марсель Пруст (здесь и далее)

Но слово – единственное, что в нас есть человеческого, утратив его, мы замкнём круг истории и очутимся в начале начал, обесценив сами себя. Впрочем, Апокалипсис с нами случился на рубеже веков, проблема-2000: все ждали обнуления электронных систем, произвольного запуска ракет и уничтожения планеты. Проснулись с утра, облегчённо вздохнули и начали праздновать новую эру, не зная и не догадываясь, что ничто подкрадывается незаметно с блаженной улыбкой убийцы-дегенерата: разум и чувства у нас обнулились.

Я даже пишу на языке хаоса, не словами, а вспышками памяти выхватываю нас из темноты. Она, как желудочный сок, растворяет в себе предметы. Безразмерный ноль, чёрная дыра вне времени и пространства. В темноте зеркала меня не отражают, и я сама становлюсь никем. Психологи называют мой страх никтофобией<sup>15</sup>, но ничто родилось и всегда было со мной: в спальне с погашенным светом, под закрытыми веками. С детства по ночам зажигаю свет: дома, в номерах отелей, в гостях. И курю, чтобы носить с собой зажигалку, как свечку, как оберег. До боли в глазах смотрю на закаты, пока солнце не почернеет: дни укорачиваются год от года, я исчезаю.

Ты рассказывал, что ничто для тебя не ноль – единица. Как-то в детстве увидел дату первое января на календаре.

---

<sup>15</sup> игра слов, от греч. *nyktos* ночь и *phobos* страх, навязчивый страх темноты, неосвященных помещений.

Мысль пронзила: год исполнился и не вернётся. Дети не чувствуют времени, безмятежность его отменяет. Детям жизнь кажется бесконечной, как поле, беги куда хочешь. Каждый день и есть жизнь, без делений на завтра-вчера. Осознанная единица подводила году черту, на отрезки рассекала вечность. Жизнь превратила в лестницу: поднимаешься выше и выше, а за спиной ступеньки осыпаются в пустоту. И чем старше становишься, тем уже ступеньки и труднее на них удержаться. Время стремится в прошлое. Чем дольше бежишь, чем чаще мелькают деления. И цифра «1», похожая на гарпун, врезается в сердце всё глубже и глубже, не вытащить. Ничто – умелый охотник. Раздроби громаду на мелочи – и уничтожишь.

Мы от него спасались в привокзальных кафе: там никто не живёт, люди – странники, и время не знает, что с ними делать. Искали ответы, украдкой вглядываясь друг в друга, наблюдая за посторонними. Мы вовремя встретились: будущее упустили, прошлое отвергали. Помню, объясняла тебе наше болезненное ускорение: восприятие времени – квадратный корень из возраста. В четыре года время течёт в два раза быстрее, в девять – уже в три, в шестнадцать – в четыре. Ты ускоряешься в шесть раз, я – в пять с половиной.

– Ну, тогда тебе меня никогда не догнать, – заявил Андрей и сбежал на свой поезд.

Я сидела за столиком в окружении пластиковых стаканчиков с недопитым кофе и вычисляла столбиком на салфетке,

в каком возрасте мы сможем быть почти рядом. Мимо спешили прохожие – те, кто жизнь привык начинать с понедельника, с нового года, после свадьбы и отпуска, кто свои дни маркером в календаре зачёркивает крест-накрест и отмеряет годы выплатами за кредит, морщинами и отметками деток за успеваемость в школе.

Люди тоже делятся: одни ведомы инстинктами самосохранения и продолжения рода, другие обречены понимать, что смертны. Они не чувствуют времени. А мы – пойманные, дважды изгнанные из рая.

Но пока существуют двое, переписка не прекратится. Мы с тобой – хранители времени.

\*\*\*\*

Снег выпал сегодня утром. Второй. Первый прошёл в сентябре. А этот, ноябрьский, останется до весны.

За ночь город стал белым, и в мир пришло просветление. Белый цвет – светоносен, и не цвет это вовсе, а чистый свет, миротворческое дао, начало начал.

Снилось, ты умер, а я сидела на диване, поджав под себя ноги, и в каком-то жутковатом спокойствии размышляла, как жить дальше. Стена передо мной была пуста – без картинок и фотографий в рамках, без полок с книгами или комнатными растениями, белый лист. На него просился P.S. твоих писем: *«Я люблю тебя, как никто».*

И я поняла: ничто не изменится. Тебя и не было никогда. Вечная Сольвейг! Наверное, в ожидании – суть женщины. А в чём суть мужчины?

Когда из кафе на Гороховой улице мы шагнули в наш первый снег, ты растерялся, как на экзамене, к которому не успел подготовиться и даже не знаешь названия предмета. Великий авантюрист и философ восемнадцатого века Джакомо Казанова писал в мемуарах, что человек может считать себя человеком с тех пор, как помнит себя.

В Северной Венеции теперь и меня лихорадит на ветру твоей памяти. Сквозит отовсюду: с каналов, из подворотен, с перекрёстков проспектов и площадей, из арок дворцов и парадных... – и выдувает уют из домов, души из тел. Веет холодом необъятных пространств, необитаемых островов, покинутых кораблей. Петербург – город-призрак, дрейфующий в Финском заливе. Каменная вентиляционная шахта. Город-пробел. И с его фотографий звучит твой простуженный голос.

– Ты растёшь без женской руки. Мы одни. Ты – мужчина, терпи!

Как ещё объяснить ребёнку смерть матери? Несправедливость необъяснима. Кажется, мир его наказал. Но за что? Не спрашивай и терпи! Позже Андрей узнает из книг: мир и не догадывался о его существовании. Бога нет. Жизнь – случайность, непредсказуемое столкновение атомов в чёрном леденящем космосе, а мы сами – сгущёнка из пусто-

ты<sup>16</sup>. Человек не хозяин ни в природе, ни в им же выстроенных городских крепостях. Наводнения и те предотвратить не умеет. Научись ходить по воде и терпи!

«Каждый человек обладает уникальностью снежинки», «мир без меня другой», «народ без меня неполный», «человек – кузнец своего счастья» – шоры для сов, а мы глазели на исчезающий с картин импрессионистов мир и читали Камю и Сартра.

Если бы мир без нас сдвинулся хоть на миллиметр, мы жили бы вечно. Но мы живём умирая, гниём изнутри, так нелепо, постыдно, поспешно, суетно. Как питерские наркоманы, варившие из «Солутана» винт от нехватки солнца. Когда капли от кашля пропали из всех аптек, мы пили с мёдом солнечный свет. А в тюрьмах вокруг нас от чахотки дохли вчерашние боги. Менялись портреты, названия, флаги, имена и границы. Но для нас как будто за гранью реальности, как в игре, понарошку.

Девяностые – яркая вспышка хаоса, безумия и свободы между маршами страны советов с её дефицитом личности и дурманом всеядного общества потребления, между застоём и гонкой в никуда, между «ничего нельзя» и «всё позволено, ты этого достоин». Мы жаждали сами не зная чего, перемен не важно каких, хотели походить на Виктора Цоя, искали в себе героев, способных вскочить в седло и прищипорить время. Но постепенно наших героев сменили глян-

---

<sup>16</sup> «Все состоит из пустоты, а форма – сгущенная пустота». Альберт Эйнштейн

цевые баловни судьбы, выделявшиеся из толпы ярлычками на одежде. Мир брендов и корпораций, кредитов и поездок к заграничным морям. Мир, который уже не изменится. Может быть, мы и сохранили идеалы ветра перемен, но утратили способность ждать.

Рождённые в семидесятые, взрослеющие в девяностые – поколение нонсенс. Пост-потерянное поколение: появились на свет, когда терять уже нечего. Росли с мыслью: не во что верить, то, что вчера внушали учителя, сегодня они же исправили красной пастой в тетрадке, вчера – правда, сегодня – брехня. Даже заокеанский символ свободы – джинсы цвета индиго – для нас утрачен из-за свободной формы, вытерт за школьными партами с картинками голых развёрстных баб.

Нас ничто не могло удивить: ни балерины, вцепившиеся в стрипбаров шесты, ни гопники Гатчины в кирзе и с железными прутами, нападающие со спины, ни сосед в малиновом пиджаке, купивший единственный в районе детсад под офис, ни пули в стенах музеев, ни страшилки из «СПИД-Инфо», ни словесная вонь «Сектора Газа», ни девочка, на выпускном балу вонзившая каблук-шпильку подруге в череп...

На квартирниках пели: «Я блюю в твой кружевной лифчик, детка!». Терпи! Это Питер, детка! ПИ-ТЕР-ПИ-ТЕР-ПИ!

Мы научились терпеть до головокружительной слабости, до бесчувствия. И наблюдаем со стороны, как жизнь вывет-

ривается дымком в узкую форточку, пролетает мимо, как мотив незамысловатой и ненавязчивой песенки. Внуки декадентов, люди без идеалов: настолько испорчены, что стали скучны, безразличны даже себе.

– Зачем же мне жить? – спрашивал ты. Нулевые ответили цинику великой иллюзией: призвание отменяет вопросы подобного рода. Суть мужчины – поиск и обретение себя, пусть и на мусорной свалке времён. Нулевые были твоим Кронштадтским футштоком. Твоим становлением и абсолютом, день за днём превращавшимся в незамутнённую правду и трагедию Постороннего.

«Понимаю пациентов лучше, чем друзей и любовниц», – записал Андрей в своём анамнезе существования. Ты смотрел в них, как в зеркало. В перевёрнутом мире душевнобольные как раз нормальны: личные драмы, естественные желания.

Кто есть «я» в человеке? Мировоззрение? Мы – обстоятельств слепые жертвы, наш мир – западня. Мысли? Навязаны обществом, где мы жалкие приспособленцы. Чувства? Стерпится-слибится, перетерпели мы их, как и мечты-устремления: больше не хочется, не любитя и не ждётся. Поступки? Мы живём и действуем не по желанию – против воли. Так кто же?

Иррациональные числа вселенной, наша целостность делится на количество встречных, мы дробимся до бесконечности. И потеря себя не лечится. Можно лишь пытаться

поймать и понять отражения прожитых вместе или порознь мгновений.

Я тоже ловец отражений, заветное – в глазах близкого человека. В людях мы любим себя, и чем чётче в них отражаемся, тем сильнее. Нужен кто-то рядом, с кем можно поговорить откровенно обо всём на свете, то есть с собою в твоём облики.

И ты был. Далеко и близко. Верил, что лучшая книга должна говорить тебе о тебе. «Перед прочтением сжечь», – завещали нам Гоголь, Булгаков, Кафка, Набоков. Говорил, это отчаяние, крик души. Они хотели быть прочитанными и при жизни любимыми. Кем? Вряд ли всем человечеством. Абстракция не способна ни полюбить, ни понять. Она и есть пустота, случайное столкновение атомов.

«Любовь, – писал Пруст, – делает человека несчастным»<sup>17</sup>. Признание, сопричастность – её продолжения. Вселенную создают две силы: Эрос и Танатос, материя и пустота, кто и ничто, обретение и потеря. И пока не дописан роман, ни герой, ни автор не могут погибнуть. Пока Сольвейг ждала Пера Гюнта, он мчался навстречу солнцу, себя обретая в вере её и ожидании.

Солнце будет отсчитывать наши часы на Фонтанке, по дороге из Питера на Москву<sup>18</sup>, пока мы стремимся по ней друг

---

<sup>17</sup> «В поисках утраченного времени». Марсель Пруст

<sup>18</sup> солнечные часы на верстовом столбе в Санкт-Петербурге на Московском проспекте.

к другу. За всю историю человечества люди придумали самые разные солнечные часы, один мечтатель даже изобрёл их с гномоном-человеком. Солнечный круг... и ты – в центре. Бывает ли лучше?

– Твои волосы пахнут солнцем, – сказал мне однажды, – его так не хватает, когда в Петербурге идут за дождями снега!

И теперь я принимаю ко всему, изучаю. Солнцем пахнет сухая, выжженная летним зноем трава, мелкий песок у кромки воды после полудня, наш рыжий такс, млеющий на подоконнике.

Солнцем пахнут нежность и красота.

Солнцем пахнет возможность берега.

\*\*\*\*

Закатное солнце делилось надвое облаками, красный и жёлтый огни догоняли друг друга, спеша уйти в ночь. Тени вытянулись у ног, истончаясь, и растворились во тьме. И фонари начали поливать не скованную ещё льдом Неву червонным золотом. Мы грелись глинтвейном из фляги на Университетской набережной между двумя грифонами. У каждого из нас за плечами застыла своя химера<sup>19</sup>. Необоснованная идея, несбыточная мечта. Солнечный берег, дом над рекой. Связь времён и пространств.

---

<sup>19</sup> Будучи образом собирательным, грифон имеет отношение и к сфинксу, и к химере, и к гарпиям – и прочим подобным монстрам.

Накануне нашей первой встречи поезд в московском метро вдруг пошёл вспять. Без объявлений, словно так и должно быть, словно в жизни возможно всё, даже вернуться во времени. И я согласилась приехать, нет, не к тебе, а в Санкт-Петербург, отыскать дом Серовых. Я видела, чувствовала их жизни в себе, как сны наяву, как воспоминания. Казалось, присяду на ступенях лестницы, почувствую холод стен на кончиках пальцев, и получится восстановить историю угасшего рода. Не кровь передать, так рукопись.

Письма Анны отрывочны. И почему именно я их читаю? Анна писала, не отправляя, или письма вернулись? Первая мировая война. Революция. Эмигрировали или убиты? Дом разрушен?

Улицу мы в тот день не нашли, глупо было надеяться, что сохранилась и не переименована. Летний сад тоже своё уступил зиме. Амуры и прекрасные нимфы упрятаны в ящики, как марионетки в коробки после спектакля. Сад – покинутый, позабытый всеми театр. Мы вдвоём блуждали по аллеям, рассуждая, что гениальное произведение невозможно закончить. Один и тот же спектакль из века в век играют по-разному. И конец никем не предопределён. Жизнь состоит из многих историй: после одной наступает другая. Мы встречаем героев в какой-то момент их жизни, в начале истории, и расстаёмся после её развязки. А что с героями будет дальше, не знаем. Как и в жизни: в разные периоды рядом с нами разные люди, они входят в неё, как в поезд, и выходят

на своей станции, описать весь их путь мы не сумеем, лишь отрезок дороги, совместной истории.

Историю нашей любви мы сыграли в трёх актах: слепли от яркого света рядом, от темноты порознь, а сейчас прозрели и счастливы оттого, что дано увидеть свет.

Я рассказала тебе о последней из рода:

– На мне всегда всё заканчивается.

– Нет, только начинается. Ты – лучшее, что случилось со мной, – улыбнулся в ответ.

Реальность зависит от наблюдателя: без восхищённого взгляда мужчины нет женщины. Задумалась, когда влечение превращается в чувство, с первого разговора глаз или когда уже всё равно, сколько шрамов у человека на теле и лиц в памяти? После какого жеста, поступка? Мы были рядом, но порознь; вместе, но не рядом; далеко и близко. Близко, но не ближе, чем сердце. А любовь – это присутствие. Бытие при сути, проникновение друг в друга, недостижимый идеал человечества. Или утраченный?

В письмах Анны, как в мемуарах белой гвардии, воскрешает эпоха страстей, нравственной жажды, не объяснимой и не доступной современникам, утомлённым похмельем. Мы не способны любить ТАК, но я мечтаю когда-нибудь обрести эту способность. С тобой или без тебя.

Говорят, современной женщине не нужен мужчина. Я в театре сегодня одна. Одинокий человек тосковать не умеет, одиночество ощущают в разлуке. Ветка ивы плакучей гладит

меня по щеке, и я чувствую, что ты рядом со мной незримо. Одиночество возвращает безмятежность детства и отменяет время. Жизнь без тебя предстаёт бесконечной. Может, в этом секрет любви: нас должно быть мало друг у друга, всегда не хватать? Медленно заполняемая пустота и есть становление, а сосуд до краёв означает конец?

В тот вечер мы были в самом начале. Как пойти на сближение? На «ты» и «тебе»? Рассказать о себе до доньшка? Воображала, мы – копии своих городов. Прогулки по паркам и набережным в неловком молчании заменят тысячи сказанных и написанных слов.

– Питер – продуваемый всеми ветрами город. И внутри у меня сквозняк, – признался ты в кафе на Гороховой. Как вы пишете о таких, как я? *«Мои дни – бессмысленное ожидание летящего мимо поезда? Вечный перрон, где стою с полым сердцем и пустыми карманами, скорбя о невидимых звёздах?»*. Сказать сам и то не могу, цитирую.

– Персонаж – альтер-эго автора. Всякий писатель пишет о себе, – попробовала возразить, – это я стояла...

– Стойте-стойте поколение мудаков! Ей богу, не наши дети! Мы войну выиграли и в космос летали, – подскочил к нам за столик дедуля. Вынул папиросу из портсигара, запихнул в мундштук и яростно ткнул ей, как указкой, в ночное, отгородившееся от нас бревенчатым сводом бара, тремя каменными этажами и вдобавок железной крышей небо. На лацкана пиджака мутной расцветки болталась медаль «За оборо-

ну Ленинграда». Из уважения к благородным металлам мы заплатили за его выпивку. Ветеран матом хлестал, как опытный ямщик лошадей. Недаром, есть выражение «ругается, как извозчик». Одни люди матом разговаривают, другие восклицают ругательства в порыве отчаяния или гнева, а он всё и всех называл своими – хлёсткими – именами.

– Героями времени пустые люди не становятся. Героями становятся те, кто мечтает, стремится, бьётся и – добивается. Сильные личности, – сказал он.

Мы и не возражали: опустошённость – извечная проблема интеллигенции. Я – писатель, словами себя вычерпываю. Ты – врач, живёшь в своих пациентах, разливаешь себя поровну между всеми из списка мёртвых и полумёртвых душ. Мы всегда отдаём, а брать так и не научились. Но любое чувство или явление по-настоящему постижимо с двух сторон: и отдающей, и принимающей, иначе наступит передозировка самопожертвованием. Как в той притче о святом, чью одежду Бог отметил чёрными пятнами. Человек не ровня богам в бесконечности, и должен кем-нибудь или чем-нибудь наполняться.

– В счастье – сила. Будьте счастливы. И возьмите себя в руки! – пожелал старый солдат на прощание.

Я помню твоё первое прикосновение. Военный жест любви. Бабушка мне о нём рассказывала. И во время войны люди были молоды, им тоже хотелось любить и танцевать не меньше, чем нам сегодняшним. Они знали: одна жизнь дана, она

проходит здесь и сейчас – на войне и оборвётся в любую минуту. Танцевали под гармонь или позже – под радиолу. Мужчина обнимал девушку за талию и брал её ладонь в свою. Жест, когда нежно проводят большим пальцем по ладони, означал: «Пойдём со мной. Меня завтра убьют». И девушки шли даже после нескольких минут знакомства-влюблённости в первую и последнюю ночь вдвоём. Это всё, что они могли дать солдату и взять себе от него взамен.

Бабушка во время войны была ребёнком, но жест пережил войну, и она узнала о нём уже в юности. Демографический кризис: женщины мечтали хоть так ребёнка родить. Взрослея, я часто думала о них: герои с судьбой и дорогой, мечтающие о простом человеческом счастье. Персонажи Ремарка. Искорки на ветру.

Так я когда-то мечтала о возможности берега. И движением этим нечаянным ты разбудил мечту. С тех пор мы держимся за руки, как бы ни были далеко и порознь. У тебя не получается жить без меня, у меня без тебя писать.

Мне говорили, романы пишут из настоящего в будущее, неведомым, нерождённым потомкам. Нет, это письма всегда одному человеку, в наше общее невозвратное прошлое.

\*\*\*\*

Бывает, время застывает и замуровывает людей заживо в своей капсуле на долгие годы. Но и заключённым приходят

письма.

Пригласительное письмо отправителю не возвращают.

«В Летнем Саду состоится Карнавал Белых ночей», – и Петербург закружило в танце. Кружил тополиный пух в аллеях, сверкая на солнце, как новогодний снег. Кружили кареты, пролётки вокруг магазинов мод и галантерей. Светские «Вестники» тут и там мелькали в руках веерами, страницы с нарядами бумажными голубями перелетали из гостиной в гостиную.

Анна смотрела на тополиный снег. Это время кружилось в воздухе и медленно оседало на подоконник. Анна ждала от портнихи коробку с первым своим бальным платьем, мечтала крышку открыть – и себя белоснежной и нежной. Новой. Другой. Бестелесной.

Призрачный город за окнами утратил тени и очертания: днями мела солнечная метель, а после заката ночь распускалась над городом белым цветком.

В окне дома напротив не спала соседка. Одинокая, как луна. Воплотившееся ожидание на берегу предрассветного неба. Постаревшая Сольвейг в капоте, чья жизнь – обречённое снеготаяние...

– Помните, репутация женщины – как зеркало: чуть подыши и мутнеет. Манеры – плод благородной души, проявление добродетели. На нимфах<sup>20</sup> не женятся. Один просту-

---

<sup>20</sup> Нимфа – лесное божество, здесь – олицетворение естества, дикости, природы.

пок – и свет закроет пред вами все двери.

Да, нужно вести себя хорошо, чтобы Богу не стало тошно. Он с иконы строго взирал, как теснили друг друга с сестрёнкой у зеркала, каблучками туфелек дырявили пол.

– На балу нельзя в зеркала смотреться. Перед кавалерами опускать глаза, – наставляла их маменька. – Скромность и простота. Нельзя выделяться! Быть со всеми, как все...

Как же хочется быть единственной! Анна, Анечка, кружева и ленточки, аромат гиацинтов, фиалок, волнующее прикосновение взглядов, фраки, маски, мундиры, кисейные шлейфы платьев, хрустальные голоса фонтанов, скрипки, гобои, литавры, паруса беседок, колонны, белеющие в ночи, как свечи, вальсы, кадрили, белоплечие дамы и статуи, сияние, трепет... Атласная книжка в руках наполняется незнакомыми именами. Необычайная лёгкость. Головокружение. Словно в лодке плывёшь по опрокинутому в пруд небу. Повороты, подводные течения. И глаза в прорезях масок – как просверки звёзд сквозь кобальтовые облака.

Руку вкладывая в мужские ладони, Анна чувствовала: каждая девушка на балу собирается из разноцветных и хрупких стёкол, как витражи. Каждый кавалер воспринимает её по-своему, и влюбляется тоже по-своему. Всё мимолётно, случайно. Для каждого из них я – другая, отличная от самой себя, как фигуры кадрилей, как ленточки в волосах, кружева на платьях. Мельтешение образов, ощущений. Словно небо в пруду разбивается на тысячу мелких осколков, рябь на гла-

ди бального зеркала. Таков маскарад. Партнёры в танце меняются, отражения пар дробятся, множатся до бесконечности.

Девушки перед началом очередного танца выстраиваются в ряд, одинаковые и разноцветные, как гиацинты. Если долго стоят, начинают таять, опускаются горестно плечи и оплывают, как воск, кружева на платьях. Даже оборванный шлейф не трагедия по сравнению с ожиданием приглашения.

Анна двух кавалеров записала на одну кадрили. Боже, какой скандал! А вдруг кто-то из них позабудет о ней, передумает? Отец тоже любит их с Таней поровну – одинаково. Ни одна из нас не уникальна, мы в круговерти этого бала – как в западне зазеркалья.

Как же хочется выйти на берег! Чтобы подали руку, и рука бы была – как земная твердь. И лицо – живое! Тёплая кожа щеки слилась бы с моей навек вместо сотен ласк и прикосновений обманчивого бархата масок.

Если в тебя кто-то влюбится, по-настоящему, для него ты будешь единственной. С ним ты *будешь*. В этом – освобождение из кружения зазеркалья. И пока он рядом, не умрёшь, не исчезнешь, дробясь в отражениях.

Над головами кружится-кружится тополиный снег... Чтоб отменить снеготаяние, нужно в случайном искать неслучайное. И себя в нём найти, уберечь своё время.

## § (начало)

Преодоление времени – причина всех книг. Мечта любого искусства. Герои произведений навсегда останутся рядом. Воплощённым в камне, музыке, слове... воспоминанием.

– А кто достоин быть героем романа? – часто спрашивали меня.

Не знаю, историю жизни меняет память. Поезда мчат нас в разные стороны, за спиной разрушаются города. Люди текут по платформам навстречу, как реки, – и обтекают меня; волны бьются в платформы, притворяются поездами...

Настоящее создаёт историю, текучее и переменчивое, неуловимое мгновение, иного нет, не существует. День, когда пишу тебе эти слова – единственная точка обзора как будущего, так и прошлого. И будет другой день и другие слова... до бесконечности. Сейчас мне страшно подумать, что случится после романа. Я живу на этих страницах.

На Тверском бульваре есть маленький памятник: каменные птицы с тоской смотрят на парящих на недостижимой высоте. Неисписанные страницы – мои белые облака.

Впрочем, писатель и не историк, роман – это территория возможного, исследование пределов человеческих способностей. Правдоподобность<sup>21</sup> ускользающей от понимания ре-

---

<sup>21</sup> «Настоящая правда всегда неправдоподобна... Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и посту-

альности. Впечатление.

Не верю романам, написанным не от лица романиста. Жить и писать можно как угодно, но искренне. А писатель, даже самый гениальный, не умеет читать чужие мысли, проникать сквозь стены в жизнь посторонних. Герои, придуманные и настоящие, – его отражения. Роман – автопортрет через зеркало. В далёкие времена художники так и писали, не из тщеславия – из нищеты, модели не по карману. А у меня есть ты.

– Так в чём же сила героя? – хочу спросить у тебя.

\*\*\*\*

Чья-то жизнь – кухонный анекдот, а кто-то – шеф-повар на кухне Истории. Имена героев записывают в толстых серьёзных книгах и забывают, анекдотам не верят, но с удовольствием слушают и пересказывают.

Человек лежит в луже крови на лестнице в метро. Тоже куда-то спешил и не успевал, был не там и не с теми, трагил на что-то жизнь... Вдруг споткнулся – и навзничь: небо на потолке нарисовано, глаза человека остекленели.

Знаешь признак москвичизма? Ахает толпа понаехавших, а они идут мимо. Отравленные мегаполисом. Скученность-ссученность, все трутся друг о друга, стираются и стираются. В этом городе тысячи лестниц, но никто не за-

думывался о своей последней ступеньке. Здесь все – лишние: не вмешиваются и не мешают.

И мы с тобой пойдём мимо. Ведь это конец истории. А роман начинают словами: *«Однажды весной, в час небывало-жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах...»* или хотя бы *«Всё началось с...»*.

Вообрази: кафе, отрешённый взгляд, а за окнами – старая и новая Москва, звенят трамваи или конки, и кто-то непременно перебегает улицу на красный свет. За окнами стоит и проносится время.

Глупо писать философские эссе о природе времени, чтобы к нему прикоснуться, нужна история и герои, способные увлечь, увести за собой из кафе. Далеко-далеко. Нам часто снятся незнакомые города с улицами, восходящими к солнцу: на таких улицах крепко держатся за руки...

Время всё разрушает, оно и есть абсолютное зло, и оно, как дьявол, в деталях. Разбитая кофейная чашка, запах мимоз, следы сорок третьего размера на сыром песке, граффити на стене, номер телефона на салфетке, хриплый голос, клочок собачьей шерсти на рукаве, цоканье каблучков по брусчатке, забытая на столике зажигалка... Описывая мелочи жизни без попытки что-то понять, объяснить, рискуешь заглянуть за кулисы времени и увидеть... что?

Между миром живых и миром умерших и нерождённых – зеркальные стёкла. Они наблюдают за нами, как мы за прохожими из кафе. Кто-то из них в тревоге забарабанит в окно,

закричит: «Посторонись, трамвай!» или «Осторожно, ступеньки скользкие!». А мы увидим свои отражения и окружающих улиц. Смотрим в холодное тихое небо и не знаем, как там внутри, в зазеркалье, уютно. В камине горит огонь и, кажется, ждут нас. К которому часу? Тик-так механическое вместо ответа.

В детских спектаклях меня учили играть абстрактные роли: Весны, Зла, Ночи, Счастья. А как сыграть Вечность? И кто смог бы раскрыть её тайну на сцене? Любой, но не каждый. Человек – единственное существо, готовое умереть за идею, точно она живая: смеётся, любит, слушает дождь или джаз и пьёт горячий шоколад всё за тем же столиком в кафе. В три часа пополудни. Человек, не Василий паспорт-серия-номер. Homo fictus. Сложный собирательный персонаж из Василиев, Анн, Макаров, Андреев... и немного меня. Простота плоска, не хватает ей глубины эмоций и смысла.

Тогда расскажу тебе о театре, тем более что текст и так загромождён кафе и вокзалами, где мы почему-то встречаемся реже, чем прощаемся навсегда. В театре легко умирать. Смерть на сцене – облегчение для актёра. Можно уйти, вынуть ноги из тесных туфель, снять грим, коньячку глотнуть из горла и закурить прямо в гримёрной. А ничто наступает, когда гаснет свет и театр покидает последний зритель.

Детство я провела за кулисами. Мама – актриса, отец – режиссёр. Театр – главный в городе, не достать на премьеру

билетов. Эпохи и страны проплывали перед глазами, как облака, герои пьес любили и умирали на сцене. Наверно, я уже знала тогда: все истории на земле написаны о любви и смерти.

В пятнадцать написала первую пьесу. Отец похвалил, но от спектакля наотрез отказался. Я наивной была, берегли от падений. Дочь для мужчины – женщина, которая не исполнилась, как мечта, идеал, сокровенный образ всех женщин.

Он жизнь положил на «Гамлета», владея английским на уровне intermediate. В шестьдесят лет его включили в число лучших переводчиков Шекспира и поставили на полку вечности рядом с Пастернаком. Отец был из тех, кто бьётся и добивается. А мама была живой. Не Офелия. Годами грела ему постель, по утрам, о словари на полу спотыкаясь, шла на кухню варить ему кофе. С тех пор ищущий камень преткновения успеха. Почему одни побеждают, а другие обречены на провал, и ни вера, ни усилия им не помогут? И пишу о том, что у меня самой не сбылось.

Имя определяет судьбу. Тамара Юфа, создавшая Сольвейг из моей матери, подарила ей книгу Булгакова «Мастер и Маргарита». Мама всю жизнь ждала отца, а я ищущий мастера. Так легенды и претворяются в жизнь, чужие мечты становятся нашей судьбой. Нельзя быть Риткой, нужно – Марго, иначе мастер в толпе не узнает. Единственной: во дворе, в школе, в институте кинематографии. Одинокой и непри-

каянной. Мастер мой заблудился где-то в веках, в городах, в переулках-оборотнях.

Впервые встретила его в зеркале, когда на «Ленфильме» одобрили мой сценарий-экранизацию драмы Альбера Камю «Посторонний». Училась на сценариста в Санкт-Петербурге, как многие из Карелии. Все говорили: рыжим везёт. Но не мне. Питерские ветра не стали попутными, в этом высокомерном городе для всех я была посторонней.

– Удобно вам в кресле? – помню, поинтересовался режиссёр.

Кресло из мягкой кожи, просторное, как диван.

– Да, – отвечаю.

– Моё, – торжествующе улыбнулся. И попросил: – Посмотрите налево.

Слева потолок подпирает стеллаж, доверху забитый пожелтевшей бумагой.

Правду жизни пишут, подумала, по газетам.

– Это наши сценарии, – сказал он, – неснятые. И вряд ли когда-нибудь будут.

После из осени в осень падали жёлтые листья, я статьи сочиняла – в газеты, ящики письменного стола полонили и хоронили мои истории.

А потом явился художник, так, чей-то знакомый, выехали компанией друзей на пленэр. С Финского залива дул сильный ветер, песок со снежной крупой оседал на холсте, белила замёрзли. Пили водку, чтобы согреться. Руки у него были

в масле. Я рюмку ему подносила и плакала. Он не выдержал то ли слёз, то ли ветра, снял недописанный холст с мольберта.

– Дарю. А ты можешь так? Кто вообще захочет читать твою сценарную клинопись. На кино не сошёл свет. Пиши прозу. Выложишь в интернет – прочитают, снимут своё кино в голове, как это бывает, когда читаешь что-нибудь настоящее...

Весной художник уехал в Москву. Я промаялась лето и – следом. Собирать из ярких осенних листьев букеты, чтобы украсить подаренный мне пейзаж с голыми, неестественно чёрными стволами деревьев.

Петербург и Москва ведут давний спор мироощущений: экзистенциалиста и фаталиста.

В Петербурге случайно всё, как фиванские сфинксы над ледяной Невой. Если долго смотреть им в глаза, заразишься их безмятежностью, растворишься в спасительной синеве запределья. Ветер срывает покровы и маски, чувствуешь себя обнажённым никем, не вкусившим от Древа познания. Но изгнание уж слышится в посвисте ветра. Питерский сплин. Городские пространства грозно, как боги,зирают в душу странника железными рыцарями на вздыбленных конях. Но тех, кто способен жить в пустоте, без сожалений о завтра-вчера, ничто не пугает. Петербург – город смелых. Трагический город в близкие отношения вступает лишь с тем, кто не ждёт ничего от него взамен. А тех, кто, как я,

надеется на «город возможностей», в Москву изгоняет.

Москва – город сильных. Здесь учишься преодолевать силу трения: падаешь и встаёшь, бьёшься и добиваешься. Здесь каждый есть то, что он делает. Исторически так сложилось: Москва – город купцов и ремесленников. Город ролей и предназначений. Карнавал, где носят «профессиональные» маски: менеджер, писатель, врач, художник, программист, полицейский, учитель, архитектор, продавец, дизайнер... Вечный двигатель великих дел: либо пробуешь силы снова и снова, либо сдаёшься и уезжаешь навсегда. Словом, Москва – это город героев с судьбой и дорогой. Третий Рим, город-фатум. В вечном городе ничто не случайно: жизнь – сценарий, и не актёрам править его.

Мама играла на сцене, у меня же жизнь, как у римлян, превратилась в театр, а точнее – в его закулисье. Постановка личности: хочешь выйти в софитов свет – выбери жизнь не по книгам, сыграй её без суфлёра. Мечтала им всем доказать, что нашла мастера. В себе. Бежала из провинции в столицу, затем в другую, чтобы избавиться от тени известных родителей. А очутилась в мире безымянных писателей-призраков. Признание мимолётно: никто никогда и никем не восхищается искренне. Лучше бы первая пьеса моя провалилась! Могла бы художником стать или, как ты, врачом. И не писать романов.

Поздно. Когда главный герой истории уходит, она замирает на полуслове, без героя разваливается сюжет, и начи-

нается не существование – бытие обывателя. Безвременье. Без вдохновения – как на паруснике в штиль, ждёшь ветра, и не важно попутного или нет, в движении выплывешь. Нельзя в искусстве добиться успеха, можно только творить, искать свой путь на бесконечных улицах, поднимающихся к рассвету.

Я словно пытаюсь достичь горизонта, зная, что это невозможно. Так гибнут на Северном полюсе. Понимают, нужно вернуться назад, по знакомой тропе. Не могут себя заставить: позади пройденная дорога, темнота, холод и боль. А впереди, чудится, брезжит свет. Сил на обратный путь уже нет, остаётся лишь вера.

О невозвращении звенели в пустой и чужой московской квартире голоса Мерсовых. Сценарий о постороннем, принятый к исполнению, но не нашедший места на киноплёнке истории, пополнил биржу сценариев в интернет.

– Мы прочитали... если вы что-то знаете... Мерсов – фамилия редкая, сообщите, пожалуйста! Мы ищем друг друга много лет...

Голоса звучали из Москвы и Швейцарии, Канады, Одессы, Африки, Португалии... разбросало ж по жизни! А я поневоле стала пересечением, где сходились тонкие линии их надежд.

– Сценарий – авторская экранизация, действия романа Камю перенесены в Россию в 1996 год – накануне отмены смертной казни, так трагичнее. Все французские имена за-

менила на русские фамилии. Так и родился Мерсов из Мерсо...

После второго звонка записывала телефоны и адреса. Соединяла пропавших. Годы напоминали гудки печали. Но Мерсовы верили, ждали, звучали. Будили с утра, среди ночи звонками. И дозвонились.

Я письма Анны читаю. В юности слушала с маминых слов скучную, недостойную романа историю о бегстве дворянки с актёром, позоре, спасшем её от революционных репрессий. А сейчас переписываю её набело, считая, что в этом и заключается процесс выживания последней из рода. Звонки Мерсовых открыли семейную шкатулку, вручили ключи от прошлого.

Мне предназначено было вернуться. К тебе. В первую нашу встречу в Петербурге искала дом Серовых, во вторую... нельзя же вдруг взять и признаться «не могу без тебя!». Дом из причины превратился в повод. Я же – в ведомую.

Мы спали тогда на разных кроватях, свет фонарей из окон чертил на полу мерцающие круги. И между нами возникло магнитное поле, метафизическое, вне мира двух городов. Место иное, где мы всегда будем вместе. Сила его притяжения непостижима, как падение в сон, как сама любовь.

Я поняла: герои владеют жизнью писателя, трепещущей под пером. Мимо них не пройти, не написать невозможно. Как нельзя отмахнуться от отражения в зеркале.

Зеркала и письма учат любить. То, к чему нельзя прикос-

нуться. То, что уже не вернуть.

\*\*\*

Ты часто вспоминал сырой свет. Утро Питера. Невский проспект проявлялся в оконной раме, как изображение на фотобумаге. Медленный снег. Внизу завывали сирены «скорой помощи». Ты думал о тех, кто уже не увидит, как разводят мосты. Машины с мигалками теснили в пробках, не пропускали. Но они успевали. Или опаздывали. Кто-то не доживёт до настоящей весны. Смерть под маской метели. А сколько покойников у разведённых мостов? Столько же, сколько детей. Таков порядок вещей. Первородный грех отбирает бессмертие.

Закурил сигарету. Ты много куришь, Андрей! Посторонний курил у гроба матери, ты закуливаешь всякий раз, когда вспоминаешь о ней. Главная в жизни женщина бросила тебя одного. Вслед за ней уходили другие. Ты не мог простить ей отсутствия, тебе не прощали безусловной и беспощадной любви.

Женский день кончился. Девятое марта – дата, пустотой улиц и обёрточным мусором площадей похожая на первое января, на гарпун единицы в сердце.

Жизнь – это простые числа, мусор и серый дым. Сосчитал от одного до девяти. Восьмёрка была твоим числом, единственная замкнутая цифра, знак бесконечности. А девято-

го числа мир опустил голову, разомкнул объятия и побежал по своим делам. Перевернул страницу. Вычеркнул твой день рождения из сетки календаря. Истратил ещё один год твоей жизни.

Ты вправе ненавидеть женщин. Они лишили тебя любви. Они украли Твой день. Праздник, который должен был принадлежать только тебе. День рождения стал днём забвения. В суете магазинов, открыточной мишуре, удушающем яде духов и цветов, пестроте подолов, жирном блеске губ, декольте и шоколадно-кремовых яств на столе, круговерти двусмысленных объятий. Для Андрея – ни звонка, ни письма, ни смс. Не до тебя.

Восьмое марта – Рождество древнейшей профессии. Стекланные, как бриллианты Сваровски, сердца бьются за кулончик (шляпку, сумочку, манто...), как у Оленьки, Поленьки, Светочки, Элочки... Людоедочки. Прекрасный пол дивного нового мира. У шлюх на Московском вокзале больше достоинства! Ниже пола не упадёшь? Как земля вас держивает? Настоящие женщины, любящие и любимые, девы и матери уходят в чёрную ледяную пустоту. В Смерть. В Ничто. А румяные Элочки живут долго. Два кокетливых глаза-прицела, рот, зад и вагина. Продажность – это про жадность. Ненасытную и тупую. Едят и гадят. Пожирают друг друга, поганят мужчин, мысли, чувства, слова, поступки – всё, до чего дотянутся. Прогрызают в мире дыру, как в яблоке. Черви в помойной яме.

Может, наш мир помойка и есть? Ангелы с вёдрами вышли из Рая, выкинули в мир души, как мусор, объедки, ненужный хлам. Как увядшие цветы и гнилые фрукты девятого марта.

Первая и несбывшаяся жена походила на твою мать, вернее, на грёзу о ней, матери ты почти не помнишь. Обещала устроить праздник для двоих, романтический ужин. За год разные полюса сблизилась до синхронности: если у одного сбегал кофе из турки, другой тоже был вынужден оттирать плиту, оба врачи, заболели и выздоравливали одновременно, угадывали мысли друг друга, с точностью до канала и перекрёстка чувствовали разделяющие вас расстояния, словно в сердце каждому вживили по маленькому навигатору.

Она не пришла. Даже не позвонила. Ты прождал день, вечер, ночь. А наутро вынул сим-карту из телефона, сломал и швырнул в окно. Вместе со всеми заметками, номерами, улыбающимися фотографиями. Новая жизнь начинается в пустоте.

Спустя годы я нашла её дневник в сети. Мы же все опутаны, связаны! Дёрни за ниточку, и клубок истории начнёт отматываться назад, в прошлое. Интернет – хранилище душ, библиотека досье, виртуальная жизнь человечества.

*«Пухлые губы, как у младенца. Живое пятно на умирающем теле. Красное на белом, земляника на снегу. Не выдержала, наклонилась и поцеловала сквозь слёзы...».* Хирург. Внеплановая операция. Шестнадцатилетняя пациентка по-

гибла под её скальпелем. Девочка в женский день. Ты не почувствовал беды в тот вечер, она не смогла до тебя дозвониться на следующий.

Рассказать, как ей живётся после тебя? Она могла бы стать твоей пациенткой, но вам, врачам, дано пережить смерть. Вы должны быть сильнее. Сквозь боль.

Да, у неё семья: муж, двое детей, судя по фотографиям. Впрочем, ты сам обо всём давно, наверное, знаешь.

Ты выбрал меня. Чтобы уходить. И дарить на прощание сухую лаванду вместо трепетных, умирающих в руках лилий. Чтобы я ждала, неистово ревнуя к прошлому, прожитому тобой без меня, упорно замедляя и поворачивая время вспять.

Непризнанный писатель привык к беспредельному ожиданию «своего часа». Что ещё можно сделать, чтобы выиграть у вечности? Время вымоет хвалу и хулу, премии, тиражи, рейтинги..., как сваи старого моста. И он рухнет в реку. А вода подхватит и понесёт вдаль, за горизонт – к морю – лёгкие непотопляемые щепы слов о любви и смерти. Ничто их не догонит. Жаль, нас уже не будет в том времени. У нас есть только это. Время непризнания. Мучительное восхождение в гору, вершины которой не видно за облаками и не суждено достичь. Ждать и бежать за мечтой, зная, что момент покоя, когда страх смерти и жажда головокружительной высоты замолчат и отпустят, не наступит, пока жива. Покой – не от мира сего. На вершине горы нет воздуха, там нельзя строить жилые дома.

«Всякий несёт свой крест, – повторяла мама, – и чем больше дано, тем труднее нести».

Жизнь – путь на Голгофу?

«Зато после тебя хоть что-то останется», – говорила.

– Книга Войнич<sup>22</sup>, – тут же сострил бы ты.

Людам не нужна чья-то чужая правда и чувства – у них есть свои. Чтобы остаться, нужно писать о тех, кто рядом. Накрыть стол на кухне, сочинить анекдот о соседе. Жизнь – это еда и вино, работа и секс. День и ночь. И любовь.

Да, ты прав. Апокалипсис напоминает девятое марта. Медленное снеготаяние, вой сирен «скорой помощи», потемневшие лилии в мусорном баке. Если целители душ, психиатр и писатель, не способны любить и быть рядом, то мир обречён.

Любовь – это наша природа. Твой отец лечил природу, ты лечишь. Но вы для неё посторонние. Чтобы лечить природу, нужно её понимать. Чтобы её понять, нужно понять себя. Ваша драма – в непонимании самих себя. Я стараюсь понять. Вас. Всех вокруг. Сквозь себя.

– Ты никого, кроме себя-в-персонажах, не полюбила, – возражаешь. – Роль Сольвейг легко играть менестрелю. Странник не тоскует по дому, вольного не тяготит одиночество ожидания.

---

<sup>22</sup> Манускрипт, написанный неизвестным автором на неизвестном языке. Алфавит не имеет визуальной схожести ни с одной известной системой письма, текст до сих пор не расшифрован.

Москва учит быть сильной, но сила – в слабости. Рядом с женщиной мужчина обретает себя, потому что она себя в нём теряет. Я шутила в табачных лавках: «Дайте две пачки с зависимостью». Доля правды в том, что невыносимо по утрам просыпаться рядом с человеком, который смотрит мои сны и читает мысли. Сердце – ахиллесова пята. На расстоянии легче любить: боль притупляется. Любовь не случайна. Как смерть человек заслуживает рождением, так жизнь – подготовка к встрече.

Из последнего нашего кафе возвращалась домой на такси. Заезжали на автомойку. Посреди зимы искусственный дождь омывал стёкла. Замерзая в машине, мечтала ещё раз обжечься твоей ладонью. Ты всегда был горячим. Снаружи. Внутри мы оба заледенели, и ледяной дождь не кончается.

На заднем сиденье такси вдруг вспомнила своё рождение: страшно, мокро и холодно, меня заворачивали в клеёнчатую пелёнку мерзкого горчичного цвета... Так всю жизнь и мёрзну, даже летом, и брожу под дождями без зонтика. Язык романов моих горчит. На губах горько от твоих поцелуев наспех. И «Горько!» нам никто не кричит. Мы, как на голую кушетку, брошены в повседневность.

Возвращаясь домой вечерами, иду мимо местного Дома культуры. Из окон всегда слышится музыка. За окнами танцуют пары, молодые, старые и те, о ком говорят «без возраста». Иногда женщина танцует с женщиной. Иногда ребята отплясывают брейк или рок-н-ролл. Что тянет их туда еже-

дневно? Что так отчаянно притягивает друг к другу? Явно не жажда большой сцены. Любителям слава не светит. Мечта о второй половинке? Страсть к танцам?

Однажды я простояла под окнами до сумерек. Казалось, музыка, лившаяся из окон, растворяет седую тьму, сдерживает и отодвигает ночь. Яркий луч звука. Медленный танец. Леонард Коэн пел: «Мы уродливы, но у нас есть музыка». Музыка их объединяла, разная, но одна на всех. На день, на миг. Пока на землю не падёт ночь.

Вспомнились возвращения из литературных гостиных в московские офисы. Чувства эмигранта после короткого, как дыхание, пребывания на родине. Жёсткая, острая, бесприютная тоска по родным и близким, которых оставила где-то там, в ночи, с гитарой в руках. Чувства инопланетянина, вынужденного выживать на Земле.

Музыка была их планетой, слова стали моей. Но Вселенная расширяется, мы удаляемся друг от друга, как планеты и звёзды. Каждый год дни становятся чуть короче, солнце холоднее, люди бесчувственнее. Это невозможно зафиксировать или измерить. Но, поверь, это так.

Каждую ночь курю на балконе и всматриваюсь в провал неба. Ясными ночами зигзаги звёзд образуют непрерывную линию, ткут бисерное полотно, и я думаю о том, что разгадка – в совпадении точек на плоскости. В прожитых вместе – далеко и близко, порознь и рядом – мгновений. Встреча случается на перекрёстке душ, сотканных из предчувствий

и воспоминаний.

Пасмурными ночами небо в тумане. Я смотрю на окна домов и пытаюсь осознать всеобъемлющую любовь Алёши Карамазова. Глаза, где горит свет, и чёрные слепые глазницы. Легко любить человека достойного. Ты подлеца полюби! Легко любить тех, кто похож на тебя, ты других полюби. Сартровский Ад.

Я знаю, что порождает туманы. Вся недосказанность между людьми собирается в тяжёлые дымящиеся облака – и накрывает целые города, топит землю во мгле.

\*\*\*

Зимняя мгла. Время коротко. День отчаянно к ночи стремится. В Заонежье метель правит балом. За окошком избы в снежной пляске кружатся субтильные воспоминания в беспощадных объятиях кавалеров грядущего. И замирают между землёй и небом среди души зеркального зала.

Ячменя у Анны осталось на дне сундука. Зима в прошлый век<sup>23</sup> затворяет калитку...

Всё случилось в фамильной усадьбе.

Зацветала вода в реке, лето зрело, багровели закаты. И томление в воздухе предвещало грозу.

---

<sup>23</sup> Историки склонны видеть рубеж 1913—1914 гг. историческим порогом между двумя веками. XX век наступает с началом Первой мировой войны.

Душными вечерами пили чай на веранде. Мотыльки ночные били в золотые колокола абажуров. Свет метался от дяди к отцу. Они спорили, порой за полночь.

– Манифест<sup>24</sup> – это трусость, – распаялся отец. – На переправе коней не меняют. Нужно было и дальше огнём и мечом. Чернь восстала. Распустили державу!

– Он – снотворное для больного, скоро всё вернётся на круги своя, – рассудительно возражал ему дядя.

– Мир утратил веру в царя! Веру черпают в благоговении, в страхе. Православный дух укрепляют победы. Бог на иконе, Царь на троне. России нужна война!

– И чего вы кричите? Вас-то точно не призовут к оружию, офицер министерских заседаний, – оглаживал бороду дядя.

Отец осекался на полуслове, пустоту в кулаках сжимал над столом, как записки служебные в своём кабинете. Не отстреляться от правды словами.

– Ох, беда не ходит одна, – вздыхала мама, чай дымящийся подливая обоим. – В ту проклятую зиму голубочка нашего схоронили. И надежда на продолжение ваше с ним вместе в землю слегла.

А сёстрам на будущее гадала тётушка. Осторожно карты выкладывая на белоснежную кружевную скатерть. Червонный валет – амурные хлопоты, шестёрка треф – поздняя до-

---

<sup>24</sup> Обсуждаются события Кровавого воскресения и начало революции 1905-го года, Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года.

рога... и под сердцем – пиковый король!

– Анна, милая, что вы от нас утаили?

Ночь синела. Туманы с окрестных болот ползли по полям, по тропинке сада, оплетали дом и веранду, влажную шаль накидывали на плечи.

Анна, передёрнув плечами:

– Может, врут? Погадайте ещё раз.

– Нет, нельзя подряд. Карты устанут.

– А вы посидите!<sup>25</sup> – советовала кузина Дашенька.

– И мне тоже два раза, – просила Татьяна. – Королей на всех кавалеров не хватит в колоде.

– Молодые забавы, – улыбалась лукаво им тётушка.

– Вот напасть, одни девки в роду, – ворчал между спорами с дядей отец.

– Зато не к войне.

Гадания да на лодке катания по реке – вот и все развлечения летом. Изводила скука. Снились балы, Петербург и весёлые игры в гостиных.

– Что-то закисли мы все тут. Не посетить ли нам балаганчик? Говорят, в деревню на ярмарку приехали комедианты. Говорят, представления у них недурны, – предложил в тот злосчастный вечер им дядя.

Сейчас Анна вспомнила: сердце не ёкнуло, не отозвалось. Перед бурей всегда безветрие. Никаких предчувствий. И это

---

<sup>25</sup> Старинный гадалый ритуал: «посидеть» на картах, чтобы те «отдохнули и говорили правду»

знамение: слёзы льют в тишине.

Взорвался отец:

– В балаганчик? Мы?!

– Развлечёмся, худого не будет, – успокоила мама.

– Развлекаться бы только. Зритель и есть мерило искусства. Комедии – порождения века пустого. Одухотворённо-му времени нужны герои. А судьба героев трагична.

«Почему всех вокруг так восхищают страдания? – думала Анна. – Неужели радость пресна?».

Видно, радость их застоялась, как в вода в рукавах реки, превратилась в настойку тоски.

Поутру северный ветер разогнал тяжёлые облака. Над верандой в светлеющем небе остророгий месяц повис. Загадать на растущий?

– Предсказания наши сбываются! Кто-нибудь хочет проверить?

Комедианты высмеивали суеверия. Спектакль о чародеях кончился, но никто не хотел расходиться. И тогда волшебник на бис возник над толпой. В узких туфлях и колпаке с бубенцами похожий на шута. Глаза, подведённые угольно-чёрным, смеялись. Встретились взгляды – и рванулась душа.

У отца бывало такое же выражение лица, когда любовался закатами. «Внезапное поражение красотой», – шутила мама.

Шут-волшебник подал руку, помог Анне подняться на сцену. Легко впустил в свою жизнь. Вместе смотрели на зрителей с помоста, словно с другого берега. Театр – ми-

стерия, игра времени и судьбы. А глаза под гримом – прозрачные, как ручей. Знают всё о ней: что было, что есть и что будет.

– Ты не спеши убежать. Мне хорошо с тобой рядом, – шепнул на ухо. И локон от дыхания взвился, затрепетал.

Вот оно: быть единственной!

В дворянских гостиных все друг к другу обращались на «вы». Анне чудилось, что за спиной кто-то прячется. Оборачивалась незаметно и видела воздуха пустоту, или стену, или своё отражение в зеркале. С годами множилось «вы» за плечами, призрачный рой личин.

Лицемерие – когда лица, как маски, подбирают под фрак и платья для балов, званых ужинов, игр. Каждый из нас играет. Разные роли от случая к случаю. Случаи непредсказуемы, мысли-чувства-поступки случайны.

В детстве мама с отцом говорили сестрёнкам прямо и ласково «ты», а потом они повзрослели, и начались приличия. На собеседника взглядывать мельком, беседу вести намёками, не выражать желания, не досказывать мысли... А главное – не понимать неприличного. Или делать вид, что не понимаешь того, что находится за пределами света, о чём умолчали в книжках «Правила светской жизни, хорошего тона и этикета».

Актёр не играл шута, он смеялся.

– Шарлатан! – по рядам загудело.

– Маг... пророк! – крикнул кто-то в толпе. – У меня сбы-

лось предсказание!

У пророков не спрашивают о происхождении. Они появились. Ниспосланы свыше.

– Просто Макар, – сказал о себе. И Анна в него поверила. Неприличное «ты» сблизило двух героев на сцене, как в жизни людей сближает соприкосновение обнажённой кожей.

«Ты» вернуло Анну самой себе. Словно во сне потерялась в тумане – и нашлась, от яркого солнца утром проснувшись.

Вмиг почувствовала, что «радость» прорастает из корня «Рай». Льётся лучами из сердца, жизнь наполняет до дна, до края, переполняет и уносит в необозримую, как земля, бесконечность.

\*\*\*\*

Пишешь ли ты свой бесконечный рассказ о потерянной экспедиции? Или давно забросил?

В наших снах белели поля. Мы бежали за туманом, а туман убегал от нас. И мы никак не могли догнать его, растаять во мгле. Просыпаясь, ты забывал финал. Говорил: он всегда открыт.

Экспедиция не должна быть найдена. Люди ждали помощи, потом отчаялись – и слились с природой. Стали ею. Язычники, почти животные, преступившие все человеческие законы, им некуда возвращаться. Общество их не при-

мет, цивилизация – не для них.

Только сейчас вдруг вспомнила, что встречала твоих заплутавших. В Москве.

В городе, где миллионы часов показывают разное (либо неточное, либо неправильное) время, где далёкое прошлое выглядывает в будущее из трещин свеженькой штукатурки и щелей-бойниц окрестных стен, никуда не успеть и легко заблудиться.

Они и жили здесь просто так: как дневник писали – не повесть. Писатели разменивают жизнь на слова, в гонке за вечностью упускают своё время. Слова уводят от сути вещей. Слова и есть заблуждения. Согласись, меж словами «потерянный» и «заблудший» разница ощутима: в первом случае тебя ищут, во втором рассказывают анекдот о неуловимом Джо, который никому и не нужен.

Итак, о словах. В обществе LOST POETS (назовём их «пропавшими без вести») все страдали аграфией. Поэты пишут, их стихи читают в журналах и книгах. А художники («artists» именовали себя) выходят за границы страницы. Ещё Рильке задавался вопросом: что же пишет в воздухе другой конец пера? Провозгласили: поэзия не молитва, а message. Жизнь – performance, а Станиславский родился из кровавых фонтанов Арто, как Афродита из пены морской<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Антонен Арто – французский режиссёр, драматург и теоретик театра, автор театральной концепции «Театр жестокости». «Кровавый фонтан» – пьеса

«Сумасшедшие, которых ещё не поймали, создают этот мир», – утверждали. И творили его картины из клубов сигаретного дыма в кафе и квартирах.

– Артисты! – насмехались над ними люди.

– Невежды! – парировали они.

Художник, по чьему завету писала прозу, пригласил меня на квартирник в районе Новоспасского монастыря. И отчаяние сменилось надеждой. Редакторы литературных журналов упрекали мои тексты в нехудожественности. Сейчас понимаю, были правы: проза росла из отверженных сценариев, но вряд ли живую плоть можно натянуть на скелет. Всё начинается с чистого листа. А тогда мне казалось, что редакторы апокрифических Евангелий вычеркнули Марию из книги Бытия.

Новоспасский район стал новым спасением. Вскоре я и жить к ним туда переехала. Ночевала в одной из комнат бывших фабричных общаг.

Днями артисты околачивались на Арбате. Говорят, кто не был на Арбате, не видел Москвы. Арбат – километр России, но его никогда не пройти до конца. Будут новые встречи. Открытия. Озарения.

Познакомили с Константином – Спасителем и режиссёром труппы.

---

1925 года, где на сцене бил фонтан из бычьей крови. Многие его методы использовал в своей системе Константин Сергеевич Станиславский. Большую часть своих работ (в т.ч. «Театр и его двойник») Антонен Арто писал в психиатрических клиниках.

Испытав крах иллюзий, романтик становится циником. А в кого может превратиться циник?

Константин продал квартиру и купил лучшие сцены Москвы для Насти, молоденькой поэтессы. Настя же залетела от поэта-оборванца. Потому что есть расчётливый ум и глупые чувства. Потому что Костя лысый, а у поэта кудри ниже пояса. Потому что мир несправедлив, или наоборот слишком педантичен по части воздаяний. Потому что есть в последних романтиках что-то невыразимо трагическое, как в пьесах Шекспира и динозаврах. Они будто всю жизнь ищут заколдованное озеро в тайге, прокладывая к нему тропу сквозь бурелом, а когда без сил падают на песчаном берегу, замечают и асфальтовые шоссе, и мосты, и дороги из жёлтого кирпича вокруг. Ничто не ново под луной, ново и болезненно только осознание этого «не ново» каждым отдельно взятым человеком. А иногда смертельно.

Искусство убивает тех, кто им живёт, и всё же в нём больше смысла, нежели в любой другой деятельности. Оно сохраняет иллюзии – как душу в бесчисленных перерождениях. И циники становятся философами.

Бродила за артистами с Костей во главе туда-сюда по Арбату, записывая их слова в блокнот, как Левий Матвей за Христом с апостолами.

– Дурак создаёт непознанное, то, чего до него не существовало на свете. И изобретает велосипед. А гений призван разрушить саму систему познания.

Я разгадывала анаграммы: Арбатство – братство. Поэзия – это масонская ложа. Без Тайны жить скучно. Незачем. Жизнь есть поиск. Люди – странники. Арбат – улица Орфеев с гитарой и шапкой нищего-попрошайки у ног.

Мы все голодали.

– Уже не есть, а жрать хочется!

– Ты – раб желудка.

Арбатство – рабство. Без постоянного заработка – постоянный голод. Помимо меню ресторанов, мне вспоминалась прочитанная об античном искусстве книга, где полисы кормили и содержали артели ваятелей Орфеев и Ник. Непревзойдённая за тысячелетия красота! А на голодный желудок сочиняются лишь оды еде и кулинарные книги.

– Но из двадцати Орфеев выживал один, остальные статуи разбивали. Если бы мы сохранили традицию древних греков, то ни Ван Гог, ни Пикассо, ни Малевич бы даже не родились.

– «Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка»<sup>27</sup>. Сила художника пропорциональна жертве.

– Да, искусство сакрально. Бог умер.

– Чёрный квадрат – икона XX века. Абсолютный свет есть тьма, космос. Земля – дом о четырёх углах. Небо упало на землю. Мы смотрим в глаза пустоте.

– И у нас, двадцать первых, икона – пустой холст?

– Выставляли уже и пустые холсты, и 4,33 минуты тиши-

---

<sup>27</sup> Винсент Ван Гог. Последнее письмо к брату Тео, 29 июля 1890.

ны играли. Скальп, то есть маску, сними с лица. Вот будет картина! Жизнь на нём расписалась!

Артисты отвергали саму возможность открытия новых уголков реальности как видимой, так и вымышленной. Конвейерная лента бытия: всё проистекает из всего. Мы – отголоски того, что было сказано до нас, ни к чему плодить сущности. Если не способен создать шедевр, преврати себя, свою жизнь в произведение искусства. Каждый шаг – к красоте.

Мы брели по брусчатке Арбата сквозь зимне-весенние дни прямо в лето. У меня в привычку вошло мысленно рисовать всех встречных портреты (не скальп же сдирать на память?). Мужчина на кубе, девочка на шаре. Отчего-то мнилось, что женщины – гибкие, приспособляются, выживают, чаще бывают счастливыми. А мужчины ломаются.

Меня тоже изобразили. Называлась картина «Поэт и Муза». Зеленоглазая девочка руки сложила в молитве, позади неё маячила чёрная тень невидимки, брошенного за пределами холста. Их тени соприкасались, проникали друг в друга, срастались навсегда.

– Найди себе музу, сможешь писать, – объяснили мне смысл полотна.

Я искала. В старых московских домах: нехорошей квартире Булгакова близ Патриарших, доме Бунина на Поварской, Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. Казалось, они ушли, а музы блуждают по комнатам, неприкаянные, ждут хозяев, верят в вечное возвращение. Слышались

голоса, неясные рифмы, скрип пера, стук печатной машинки, стёкол звон, переливы рояля...

Не привиделись, не явились. Зря купила новый блокнот. В нём друзья пристрастились рисовать друг на друга шаржи. Я ничего не писала. Дни молчали.

Костя меня успокаивал:

– Адам и Ева смысл искали в Раю. Бог открыл ворота и отправил их в мир. Почувствуйте, каково это быть создателями. Что бы ни делал, людям не угодить. Дети обвиняют матерей, художники, писатели всю жизнь гонимы, учёных вообще на кострах сжигали. Только неделание обывателя не вызывает осуждений: они принимают мир таким, как есть, не стремятся его переделать. Так их предки должны были принимать Эдема щедроты...

Мы в блаженном бездействии докатились до ночи, о которой я и хотела тебе рассказать.

Снился кувшин молока. Пар от него поднимался и, как ветер, таил в себе запахи: лесов и полей, звёзд и костра, мяса, приправленного шафраном... Голова закружилась во сне!

Ночью на кухне был пир. Осетрина в молочном соусе, парное мясо с шафраном. Водка, вино, портвейн. И мороженое с тепличной клубникой.

Топталась на пороге кухни, а в желудке болело и пело. Наконец решилась шагнуть в жёлтый квадрат из темноты коридора.

– Мне снился кувшин парного молока, такой запах!

– Прекрасный сон! Млечный путь в чаше земной! Впереди великая ждёт судьба! А пока сядь, поешь, выпей с нами.

– Что празднуем? – тут же освоилась я. Осетринки, вина и кусочек мяса с шафраном. И мороженого с клубникой. Всё сразу.

– Первый день лета! – жуя, отвечали. – Из общаги пора выселяться, теперь можно спать на скамейках в парке.

Наполняли бокалы. Гитара, как нимфоманка, обнималась со всеми подряд. Ночь приплясывала и не кончалась. Насытившись, я задумалась, откуда роскошь застолья? Спросить было не у кого, к тому времени уже никто никого не слушал, никто никому не отвечал. Летели на крыльях возвышенных споров. Не догнать.

– Мы язычники!

– «Я – зверь, я – негр. Но я могу быть спасён!»<sup>28</sup>

– Все мы – звери, и не надо никого спасать. Какое из четырёх сознаний, по-твоему, перемещает человека в Рай? Зверей из Рая не изгоняли, значит, инстинкты невинны.

– Но мы – люди. Нельзя жить во власти инстинктов!

Хтонические исчадья хлебали портвейн из горла.

– Почему? Так живут обыватели. Во власти страха. Это героям с детства присуще предчувствие трагедии.

Костя однажды обмолвился, что единственный брат – в больнице, что деньги ему собирает на срочную операцию. Иначе брат до осени не доживёт.

---

<sup>28</sup> «Одно лето в Аду». Артюр Рембо

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.